

РЕЛИГИЯ—ДУРМАН ДЛЯ НАРОДА

ЛЕВ ТОЛСТОЙ

КАК СТОЛП и УТВЕРЖДЕНИЕ ПОПОВЩИНЫ

„В наши дни попытки идеализации учения Толстого, оправдания или смягчения его „непротивленства“, его апелляции к „духу“, его призывов к „нравственному усовершенствованию“, его доктрины „совести“, всеобщей „любви“, его проповеди аскетизма и т. п. — приносит самый непосредственный и самый жестокий вред“.

В. ЛЕНИН.



**ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА НА ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЖУРНАЛ-СБОРНИК НАУЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ**

„АТЕИСТ“

ЕГО ОТДЕЛЫ:

1) Религиозно-исторический и культурно-исторический— статьи по вопросам истории религии и культуры как в нашем, т.-е. **материалистическом** освещении, так и в освещении идеологически чуждых нам, но дающих обширный **фактический** материал исследователей, **особенно иностранных**, поскольку этот материал может быть использован в интересах воинствующего атеизма.

2) Церковь и государство. Отдел посвящен разоблачению контрреволюционной и шантажной деятельности церковников какого бы то ни было культа.

3) История атеизма.

4) Хроника антирелигиозного движения у нас и за рубежом.

5) Библиографический— сведения и отзывы о книгах и статьях в области религии и ее критики, выходящих у нас и за рубежом.

Редакционный совет: *И. Вороницын, Е. Грекулов, проф. В. Т. Дитякин, проф. С. А. Каменев, проф. Н. П. Каменьщиков, проф. С. Г. Лозинский, проф. В. К. Никольский, Н. Румянцев, И. Шпицберг* (отв. редактор).

ПОДПИСКА С ПЕРЕСЫЛКОЙ ПО ПОЧТЕ.

На 1930 год на 12 месяцев 7 р. 50 к.

„ 6 „ 4 р. — к.

Отдельный номер — р. 75 к.

Журнал „Атеист“ за 1925-29 гг. распродан.

МОСКВА, Гранатный переулок, дом 1.

Издательство „АТЕИСТ“. Тел. 4-53-12.

ЛЕВ ТОЛСТОЙ

КАК СТОЛП и УТВЕРЖДЕНИЕ ПОПОВЩИНЫ

ПРОТИВОТОЛСТОВСКАЯ
ХРЕСТОМАТИЯ

ТРЕТЬЕ, ИСПРАВЛЕННОЕ
и ДОПОЛНЕННОЕ ИЗДАНИЕ

Под редакцией И. А. ШПИЦБЕРГА

АТЗИСТ



Гостипо-литография им. Карла Маркса
в г. Твери. Заказ № 2860—30
Мособллит № 9038. Тираж 10.000 экз.

— 1930 —

НЕСКОЛЬКО СЛОВ—ОТ РЕДАКЦИИ «АТЕИСТА»

к третьему изданию.

Лев Толстой—большое явление в развитии русской общественной жизни.

Как всякое большое явление, он встретил со стороны последовательных марксистов (то-есть, ленинцев) самую внимательную критику.

Эта критика **иногда** была очень сурова, но **всегда** была справедлива. Настоящий сборник является в этом смысле итоговым. Он разворачивает перед читателем марксистскую критику Толстого и толстовщины в отдельные важнейшие моменты, за последнюю четверть века.¹⁾

Недавний юбилей снова всколыхнул, хотя очень ослабленно, споры о Толстом. Споры не вызвали широкой волны, не столкнулись ни с какой живой идейной потребностью, не возбудили в советском читателе желания вернуться к Толстому и быстро заглохли. Толстой давно уже стал чисто историческим явлением. Он не играет в **революционной** среде никакой активной роли, его взгляды не волнуют, не находят ни широкого сочувствия, ни резкой вражды: о Толстом говорят много, но думают о нем мало. И в настоящее время вполне уместны слова Г. В. Плеханова:

«Теперь очень много толкуют о Толстом. Но чем больше толкуют о нем, тем больше затемняют, хотя, разумеется и невольно, истинный смысл его доктрины». Можно сказать, не опасаясь преувеличения, что о Толстом уже наговорено значительно больше вздора, чем о каком бы то ни было другом писателе.

Непонятно, почему Плеханов сделал вежливую оговорку, что истинный смысл учения Льва Толстого затемняется «разумеется невольно». Было и еще будет очень много сознательного, умышленного извращения, прикрашивания и идеализации толстовщины. И сторонники, и многие противники Толстого планомерно и преднамеренно извращали его взгляды, старались сделать их доступными и соблазнительными для народных масс. Марксистская критика всегда стремилась восстановить истину о Толстом против его друзей так же, как против его врагов.

Возьмем, к примеру, самодержавную православную церковь. Она была ожесточеннейшим врагом Толстого. Хотя Толстой непосредственно не вытерпел никаких гонений от православных попов,

¹⁾ В сборник наш входят материалы и немарксистского направления.

но факт его отлучения синодом был раздут в свое время, как мученичество и вызвал прилив симпатий со стороны врагов церкви, и даже со стороны революционно настроенных масс. Многим хотелось верить, что синод отлучает Толстого от церкви за то, что этот мыслитель был революционером.

Это—совершеннейшие пустяки. Со времен декабристов и до 1917 г. врагов церкви было много, но с ними церковно-самодержавная власть боролась не отлучением, а тюрьмой и казнями. Для Толстого синод допустил исключение по той причине, что он хотя и неправильно, с точки зрения православия, но **верил** в бога. Попробовал бы синод отлучать от церкви Владимира Ильича Ленина! Это было бы глупейшее комедианство. Как же отлучать того, кто никогда и ногой не ступал в церковь. А Толстого отлучили, как еретически, неправильно, но все же верующего. Церковь в богословском смысле слова есть объединение всех верующих. Толстой **стремился не разрушить церковь, а заменить ее более прочной и длительной организацией верующих.** На место православной церкви он хотел поставить церковь толстовскую, с евангелием, христом, богом, со всем православным учением, за вычетом его очевиднейших и бьющих в глаза нелепостей. Иначе говоря, целью Толстого было подновить, улучшить, перестроить, усовершенствовать церковь, сделать ее желанной, привлекательной для рабоче-крестьянских масс.

Если так ставить вопрос, то, конечно, православная церковь и толстовщина выступают перед рабочим классом не как два непримиримых противника, на сторону одного из которых должен стать мыслящий пролетариат, а как два заклятых врага пролетариата, **одинаково чуждых и ненавистных** ему.

Иное дело общественная деятельность Толстого. Марксисты никогда не брали абсолютно, метафизически, не признавали в его учении никаких вечных ценностей, но и не считали его безоговорочно реакционным. Ленин, в частности, находил в общественном учении Толстого ряд положительных, если не революционных, то по крайней мере критических черт. Толстой критиковал общественный строй, существовавший в его время.

Признавая это, Ленин делал чрезвычайно существенную оговорку, которой нельзя забывать. В начале 1911 года он писал: «Четверть века тому назад критические элементы учения Толстого могли на практике приносить иногда пользу некоторым слоям населения вопреки реакционным и утопическим чертам толстовства. **А в наши дни (в годы реакции после революции) всякая попытка идеализации учения Толстого... приносит самый непосредственный и самый глубокий вред.**»

Ленин этим сказал, что толстовская теория реакционна и утопична, но в отдельные моменты ее **практическая пропаганда** могла приносить известную пользу. Когда и при каких условиях?—лет 35—40 тому назад, в восьмидесятые годы, в эпоху распада народничества и наступившего примирения с действительностью, с самодержавным строем, Толстой призывал не мириться с существующим

строем, а бороться за его изменение. План перестройки общества, предлагаемый Толстым, никуда не годился, с точки зрения классовых интересов пролетариата, но резкая критика самодержавия и церкви, недовольство существующим строем, будили мысль. Однажды разбуженная мысль могла и не застыть в болоте толстовщины, а пойти вперед и дополнить критику существующего революционной борьбой за будущее. Но и только.

После революции 1905 года, после того, как восточная неподвижность старой России начала распадаться, учение Толстого приносило только вред. В настоящее время, когда общественная обстановка изменилась коренным образом, толстовская критика существующего строя превращается в свою диалектическую противоположность. **Практика** толстовщины становится хуже ее **теории**, несравненно враждебнее рабочему классу, его социалистическому строительству.

И в то время, когда Толстой вел борьбу против существовавшего в его время самодержавного строя, он брал его в целом, огульно, отрицая полностью. Он отвергал не только классовых врагов пролетариата, но и те ростки будущего общества, которые зарождались в недрах старого строя. Он обесценивал и сводил на нет борьбу рабочего класса. Он враждебно относился к капиталистическому строю, не умея понять его противоречия. Он осуждал капитализм, как «безнравственный» строй, предлагал вернуться к деревенской патриархальщине и пытался убедить рабочий класс и революционную массу крестьянства отказаться от единственного пути освобождения путем классовой борьбы.

Для рабочего класса толстовщина является в настоящее время страницей мертвого прошлого. Но у Толстого и теперь много друзей.

Толстой был борцом, остаются борцами и его последователи. Весь вопрос лишь в том, против чего направлена их борьба.

Толстой при жизни был врагом существующего строя и противником классовых врагов самодержавия, противником социалистически мыслящих и действующих рабочих. Самодержавия нет, но тем острее направлена ненависть толстовщины против «дьявола» — социализма. Социализм для толстовщины — худший, самый ненавистный «дьявол». Между тем, религия и социализм несовместимы. Какие бы смягченные и утонченные формы не принимала религиозность, она неизбежно обнаруживает свою контр-революционность, едва только приходится в столкновение с социализмом, как активной боевой теорией рабочего класса. Лев Толстой хорошо знал это.

После революции 1905 года он выступал против борющегося пролетариата под предлогом протеста против безнравственных, с его точки зрения, методов насилия, применяемых революцией. Он осуждал террористов, забастовщиков, экспроприаторов, пытался представить их одиночками, действующими не от имени класса, а от имени ложных моральных принципов. В годы реакции Толстой в высшей степени содействовал изолированию революционных сил,

дискредитированию революции, прикрывал своим авторитетом массовое дезертирство интеллигенции из рядов революционной социал-демократии.

Уже тогда Толстой своей проповедью играл на руку контр-революции. Его знаменитый протест против массовых смертных казней, против политики царского министра внутренних дел Столыпина—вешателя,—не заключал в себе ничего революционного. Во то время было много попов, примыкавших к кадетской партии, и тоже подписавших протесты против смертной казни во имя евангельского учения о прощении врагам и всеобщей любви.

В настоящее время в общественных отношениях произошел настолько глубокий и резкий перелом, что религиозный индивидуализм толстовщины становится в глубочайшее противоречие с коллективным энтузиазмом социалистического строительства. Даже если отбросить религиозную оболочку нравственного учения Толстого и взять лишь его практическое содержание, то и в этом случае искание счастья и «спасения внутри нас самих» имеет глубоко деморализующее значение.

Мы решительно пошли по пути, осужденному Толстым. Мы перестраиваем общество на основе науки и техники, тогда как Толстой признавал только одну науку—о нравственном совершенствовании человека и защищал патриархальные формы индивидуального хозяйства, сопротивляясь прогрессу техники.

Толстовщина становится сейчас тем более вредной, что строительство социализма перенеслось в деревню в форме массового создания колхозов, в форме решительной борьбы с единоличным собственническим хозяйством. Коренная ломка, какую переживает деревня, стихийная тяга бедняцкой и середняцкой массы к коллективу, решительно противоречит толстовским понятиям о крестьянском труде.

Выступая в качестве защитника, апологета земледельческого труда, Толстой выходил на поле пахать землю сохой. Трудно было бы представить себе Толстого, управляющего трактором... Он защищал соху: можно ли подыскать более яркий символ реакционной сущности его учения?

Толстовщина—идеологическая защита первобытной дикости, изживаемой нами при помощи колхоза, трактора, безбожия... Никакими усилиями, никакими оговорками, никакими затушевываниями и искажениями нельзя устранить сущности и основы общественного учения толстовщины,—ее вражды к социализму.

На пролетариат толстовщина никогда не оказывала ни малейшего влияния, за исключением немногих одиночек, оторвавшихся от своего класса. Но толстовщина оказывала и оказывает серьезнейшее влияние на те группы населения, за привлечение которых на свою сторону борется рабочий класс, прежде всего на интеллигенцию, а затем и через ее посредство на крестьянские массы. Толстовщина воспитывает индивидуализм, резкое отрицание социалистической общественности, пропагандирует такие взгляды, которые абсолютно

несовместимы с могучим колхозным строительством, с социалистической переделкой крестьянского хозяйства, с раскулачиванием деревни, с массовым безбожием, которое охватывает крестьянство в районах коллективизации.

Нет ни малейших оснований опасаться влияния Толстого на рабочий класс. Но в нашей стране задача социалистического переустройства тесно связана с экономической и идеологической ломкой в миллионных массах крестьянства. Толстой, всю жизнь обращавшийся к крестьянству, славословивший и идеализировавший отсталые формы крестьянского хозяйства, содействует размычке между пролетариатом и крестьянством.

Идеал Толстого—трезвый, набожный, некурящий, работающий, семейственный, индивидуальный крестьянин-хозяйчик, собственник, враг самодержавия, церкви, помещиков, но... враг бедняка, **враг городского пролетариата**. Толстовский крестьянин уповает лишь на помощь божью и на свои собственные мускулистые руки. Он—противник всякого социализма, тем более в деревне. Он считает пьянство, леность, бесхозяйственность—причиной, а не следствием тяжелого положения бедняка или батрака, презирует его и не окажет ему помощи ни в трудную минуту хозяйственной борьбы, ни в общих усилиях по проведению коллективных начал в деревне.

Таков был Толстой. Таковы его последователи теперь.

Можно вести бесконечные отвлеченные литературные и философские споры о Толстом. Можно доказывать, что он был хорошим художником и плохим мыслителем или наоборот. Можно говорить о ценности или ничтожности моральных принципов его мировоззрения. Можно доказывать или опровергать об'ективную революционность его деятельности... Все эти общие рассуждения ни на шаг вперед не подвинут нас в понимании того значения, какое имеет толстовщина в настоящее время.

Подходя к Толстому с этой стороны, нельзя брать его вне времени и пространства и считаться лишь с Толстым восьмидесятых или даже девятисотых годов. Необходимо учитывать, какую активность проявляет толстовщина в настоящее время. Ее социально-вредная роль заключается в том, что она снабжает врагов диктатуры пролетариата «аргументами и доводами» для борьбы с социалистическим строительством.

Толстовщина идейно и организационно вооружает всевозможные сектантские группировки, и саботирующие группочки интеллигенции. Кулацкая контр-революция в деревне, отчаянное сопротивление кулака, обреченного на гибель коллективизацией, принимает религиозную оболочку, и именно толстовское учение дает кулаку его идеологию, прикрывает маской ханжеской морали кровавую злобу, бешеную ненависть к колхозному строительству. Кулаку не приходится трудиться над изобретением доводов в защиту единоличного хозяйства против колхоза: все эти доводы уже были изобретены Толстым, много раз изложены им в его бесчисленных гнусно-ханжеских проповедях, поучениях, статьях, письмах и нравоучительных рассказах.

В те времена, когда единоличное хозяйство, соха и трехполье господствовали в деревне, толстовщина осыщала и оправдывала существующие отсталые формы хозяйства. В настоящее время толстовщина становится вдвойне вредной, потому что защищает изживаемые нами формы хозяйства и производственные отношения в деревне, поддерживает остатки и пережитки косности, являющиеся главным препятствием по пути строительства социализма.

Моральная проповедь Толстого, повторяем, дает сектанту идеологическое обоснование в его борьбе против культурной революции, против социалистической перестройки всего хозяйства и быта.

Толстолец, разумеется, прежде всего заявляет, что он враг умершего самодержавия и буржуазии. Он не скажет о своей вражде к большевикам, но остороженько, умильно, под прикрытием рабоче-любивых фраз, заявит, что большевизм это только одна сторона жизни, и при том внешняя, наименее, де, ценная, общественная, чисто механическая, что есть другая сторона жизни—личная, нравственная, интимная, что существует кроме плана общественного строительства—план внутреннего нравственного переустройства каждого отдельного человека.

Попытка отделить личную жизнь от общественной, оскотить, урезать, переполовинить социалистическую культуру, присвоить себе внутреннюю жизнь человека, является одной из реакционных черт толстовщины в настоящее время. Пользуясь толстовскими аргументами, интеллигент усваивает двойную бухгалтерию своей жизни. Он служит большевикам, отдает им время, силы и умственную деятельность, но оставляет за собою право строить внутренний мир по своему, «нравственно самоусовершенствоваться» и, при случае, заниматься вредительством.

Толстовщина организует кулака, давая ему в руки поповское учение о «царствии божием внутри нас». Более или менее грубо кулак докажет середняку и бедноте, что строительство социализма—одна суета, тщета, внешний блеск и никчемное устремление, что самое важное это помыслить о спасении души своей от всяких соблазнов и скверн, в том числе от попыток сопротивляться злу и доверять свою судьбу каким-нибудь «внешним» организациям, вроде кооперации или коммунхозов.

Толстовщина вооружает бесчисленным множеством «аргументов» сектантов самых различных направлений и толков. Сектанты, даже самые враждебные по отношению к Толстому, сейчас обеими руками черпают запасы доводов из его сочинений. Они берут его критику евангелий, его нравственно-религиозные построения и встречают всякую антирелигиозную пропаганду доводом о том, что наука противоречит лишь устарелой церковной религии, но не может ничего дать для счастья человека, а подлинная «правда внутри нас» недосыгаема, де, для науки...

Трудно найти таких врагов советского социалистического строительства, которые чем-нибудь не позаимствовались бы из богатого арсенала толстовщины. Но не в этом одном ее разлагающая роль.

Мы указали, что, вопреки своему учению, толстовцы в высшей степени активны и упорны. Это не значит, однако, что они последовательны.

Напротив того. Непоследовательность, противоречие теории и практики, является едва ли не самой существенной чертой толстовщины. Один из вопросов, который чаще других приходилось слышать Толстому при жизни от своих идейных противников, сводился к следующему: «Как вы можете, Лев Николаевич, вести жизнь противоречащую вашему учению. Вы проповедуете одно, а действуете совсем иначе. Вы проповедуете бедность, а живете в роскоши. Вы проповедуете отказ от частной собственности и окружены ею. Вы говорите об уходе из мира суеты, а сами живете в величайшей суете».

Толстой имел всегда один готовый ответ: «Я сам знаю, что моя жизнь находится в противоречии с моим учением. Я сам знаю, что я гадок, ничтожен, тщеславен. Но я слаб. Помогите мне».

Этот довод имел бы силу убедительности, если бы Толстой, а тем более все его последователи, не пользовались им всегда и во всех случаях жизни. А таких случаев очень много. Проще говоря, трафаретная толстовская фраза о том, что хорошая теория противоречит плохой практике, является одной из важнейших и существеннейших черт толстовщины. Это—всегда готовое, пригодное во всех случаях жизни идеологическое прикрытие. Эта фраза позволяет толстовцам лицемерить, **профессионально** ханжить, проповедывать одно, а действовать по другому, фактически оправдывать всякую мерзость, всякую ложь, всякую подлость.

Толстой вовсе не был оригинален, придумывая этот трафаретный ответ: «Я мол, и сам знаю, до чего я ничтожен и жалок в своем неумении построить жизнь по идеалу». Тут он был верным учеником православной христианской религии: «Дьявол попутал, слаб человек». Этот готовый ответ был на устах у всех отцов церкви и церковных святош, начиная с первых так называемых мучеников и кончая Гришкой Распутиным. И Распутин тоже оправдывал каждую свою подлость изречением: «Слаб человек, тащится к добру, а одолевает его зло».

Таким образом, лицемерное противоречие между «нравственной» теорией и «беснравственной» практикой вовсе не является противоречием между учением и жизнью Толстого. Напротив того, нигде толстовщина не обнаруживает себя так полно и целеустремленно, как в этом противоречии.

Контр-революционерам не всегда бывает выгодно открывать свое подлинное лицо. Озлобленный, доведенный до отчаяния, видя свою неминуемую гибель, кулак хватается за обрез, пускает в ход поджог, нож, поджигает коммуны в деревне, натравливает темную массу, толкает ее на открытое сопротивление. Но вся эта кулацкая практика прикрывается ловко построенной идеологической защитой единоличного хозяйства и старого уклада жизни в духе толстовского учения. Откровенная белогвардейская контр-революция, действующая

методами заговоров, взрывов и террористических нападений, чужда толстовщине. Но те классовые враги, которые живут и действуют в советской обстановке, которые вредят лицемерно, тайно, втираясь в доверие к трудящимся и обманывая их во имя своих подлых целей,— ищут и находят именно, повторяем, в толстовщине неисчерпаемый запас религиозно-моральных доводов для оправдания своей вредительской политики.

Открытым проповедникам классового насилия толстовщина не по душе. Поп старой церкви, жандарм, черносотенец-помещик, империалист, фашист не могут быть толстовцами. Но кулак, сектант, интеллигент-вредитель, бесчисленные гады, участвующие в нашем социалистическом строительстве, чтобы срывать его бюрократизмом и медленным саботажем, советские чиновники, считающие себя людьми, продавшими большевикам «тело», но не желающими продавать им «душу»,—все они ищут в аргументации Толстого нравственной самозащиты.

Толстой освятил и пустил в ход, а его последователи широко использовали, худшую форму морального лицемерия. Их двойственная мораль отличается от буржуазной. Буржуа говорит красивые слова о морали, а втихомолку блудит. Толстовец блудит открыто, а пойманный—всегда находит у своего великого учителя подходящее словечко о необходимости нравственного усовершенствования и о трудности строительства царства божия внутри нас.

Защищаясь от упреков в противоречии теории и практики, Толстой весьма умело защищал таким же точно методом классовых врагов трудящихся. Палач, который вешает революционера; офицер, приказывающий стрелять в демонстрантов; губернатор, секущий мужиков; капиталист, выжимающий пот из рабочих, все они встречали со стороны Толстого беспощадное осуждение. Он неизменно говорил, что это нравственно испорченные, внутренне развращенные люди, **но такие**, в которых не заглохла искра божия, которые сознают, что они поступают плохо и **каются** в этом, **страдают**, де... от сознания свой испорченности.

Отсюда прямой практический вывод: и палачу, и офицеру, и губернатору, и капиталисту надо, де, помочь нравственно исправиться, надо указать недопустимость их поступков, надо направить их на путь нравственного **внутреннего** самоусовершенствования.

Здесь непротивление злу превращается в чрезвычайно активное содействие злу. Как известно всем из поповских проповедей, православная церковь в этом случае не соглашалась с Толстым только внешне; имея такое же точно учение, но только более грубое и вульгарное.

В капиталистическом обществе далеко не каждый угнетатель выступает открыто, как насильник. Среди крупной буржуазии есть много людей «честных», гордящихся своей «нравственностью» и инсценирующих позу «осуждающих насилие». Помыслы угнетателей такого типа основываются на стремлении скрыть факт эксплуатации и насилия, выдвинуть на первый план личную «честность», заменить классовую борьбу общечеловеческой солидарностью.

Такого типа угнетатель живет на ренту, на доходы от акций предприятий, эксплуатирующих труд рабочих отсталых народностей на каучуковых плантациях или нефтяных источниках и т. п.

Такого рода капиталисты, оторванные непосредственно от производства, пользующиеся безличными источниками дохода, в особенности охотно проповедуют толстовство. Они прекрасно знают, что пропаганда личной нравственности и непротivления злу принесут им большую пользу, если рабочая масса проникнется толстовской моралью и будет заботиться о самоусовершенствовании.

Такой капиталист, проповедующий отказ от насилия, применяя насилие на практике, с особой охотой воспринимает учение Толстого, как наиболее «приличную» удобную форму идеологического прикрытия эксплуатации.

Дело в том, что Толстой никогда не в состоянии был различать идеологии отдельного человека от его классового положения. Будучи сам помещиком и проповедуя идеологию идеализированного крестьянского труда, находясь таким образом в положении объективно противоречивом, сам Толстой видел здесь только личное противоречие. Ему казалось, что он проявляет непоследовательность. Между тем, с точки зрения марксизма, идеология отдельного человека имеет совершенно второстепенное значение, сравнительно с его классовым положением. Добрый капиталист не перестает быть угнетателем от того, что он добрый папаша, христианнейший супруг и т. д. Жандарм не перестает быть палачем, если он—добрый палач. Толстой не переставал быть помещиком от того, что он пропагандировал религиозное учение. Последователи Толстого, различные и разнообразные представители толстовщины, не меняют своего классового положения от того, что становятся приверженцами этого учения.

Нужно отметить, к тому же, что Толстой всегда понимал насилие в высшей степени поверхностно, чисто механически. Когда он заговаривал о насилии, он всегда имел в виду насилие в самом прямом смысле слова: убийство, избиение, порку розгами, драку, удары кулаком, палкой. Другие, более утонченные формы насилия, ему как будто вовсе не были известны. Упрекая правительство и революционеров в насилии после 1901 года, Толстой подразумевал только расстрелы и казни—со стороны правительства, личный террор, бомбы и браунинги—со стороны революционеров. Это позволяло ему поставить на одну доску насилие со стороны угнетателей и насилие, применяемое угнетенными.

Является ли, с толстовской точки зрения, насилием строй капиталистических отношений, принуждающий рабочего добровольно продавать свои руки предпринимателю? Является ли насилием со стороны капиталистов тот факт, что рабочий умирает с голоду, не имея заработка? Конечно нет. Человек умирает с голоду «по воле божией». Тут ничего, мол, не поделаешь. С другой стороны, является ли «грехом», с толстовской точки зрения, рабочее восстание? Конечно, да.

Таким образом, толстовское учение не только не в состоянии было вскрыть сущность капиталистического насилия, но прямо помогало оправдывать его. Неудивительно, что Толстой стал любимым англо-американским писателем, и его самую широкую читательскую аудиторию составляет крупная буржуазия.

Кому, как не капиталисту, «понять» всю ценность учения, отрицающего насилие и проповедующего любовь. Чем выше развит капитализм, тем более механический безличный характер принимает классовое насилие. К. Маркс отметил фетишизм товарного капиталистического производства, скрывающего истинные отношения между людьми и превращающего их в отношения между человеком и вещами. **Этот фетишизм нашел своего идеолога в Толстом.**

Толстой, как ни один другой писатель, сосредоточивал свое внимание на отношении человека к вещам. Все его учение о нравственности пропитано фетишизмом.

Чтобы не быть голословными в определении толстовского фетишизма, возьмем, в качестве примера, отрывок из его художественного произведения, заключающего в себе и проповедь против церковной религии, из романа «Воскресение».

«Так продолжалось очень долго. Сначала шли похвалы, которые кончались словами: «помилуй мя», а потом шли новые похвалы, кончавшиеся словами: «аллилуия». И арестанты крестились, кланялись на каждом перерыве, а то и через два, и все были очень рады, когда все похвалы окончились, и священник, облегченно вздохнув, закрыл книжечку и ушел за перегородку. Оставалось одно последнее действие, состоявшее в том, что священник взял с большого стола лежавший на нем золоченый крест с эмалевыми медальончиками на концах и вышел с ним на середину церкви. Сначала подошел и приложился к кресту смотритель, потом надзиратели, потом, напирая друг на друга и шепотом ругаясь, стали подходить арестанты. Священник, разговаривая с смотрителем, совал крест и свою руку в рот, а иногда в нос подходившим к нему арестантам, арестанты же старались поцеловать и крест, и руку священника. Так окончилось христианское богослужение, совершаемое для утешения и назидания заблудших братьев». Тут перед нами злая карикатура на церковное богослужение, основанная на исключительно внешнем описании вещей и действий. Для Толстого почему то имеет огромное значение, что на золоченом кресте имеются по концам медальончики, что священник сует арестантам крест в нос, а не в рот, что он в это время разговаривает с надзирателем, что верующие в церкви до изнеможения бьют поклоны.

По мнению Толстого, подлинное, правильно выполняемое богослужение должно дать заблудшим братьям утешение и назидание, а тут вместо утешения, вместо назидания, бьют поклоны, произносят бессмысленные слова, тыкают в нос кресты с медальончиками. Так пишет мыслитель, который боится, что механически выполняемое богослужение подорвет авторитет религии и пытается спасти христианство резкой критикой его духовенства.

По мнению Толстого, надо переделать, перестроить отношение к вещам, изменить действие, и тогда религия приобретет новый смысл, будет служить целям утешения и назидания.

Для художественной манеры Толстого характерен прием чистого внешнего описания вещей и действие и полное пренебрежение внутренним смыслом отношений между людьми. Таким же приемом пользовался он при описании оперы с целью доказать ее нелепость. Люди ходят по сцене, проделывают какие то движения, поют, падают, делают вид, что умирают, потом поднимаются и, взявшись за руки, счастливо улыбаются аплодирующей публике.

При помощи такого приема внешнего описания можно найти бессмыслицу в чем угодно. Но сущности явления такое описание совершенно не касается. Каррикатурное описание церковного богослужения в тюрьме несколько не колеблет религии, да сам Толстой к этому и не стремился. Напротив: он хотел доказать, что христианство; освобожденное от театральной внешности, возродится и усилится.

Толстой в высшей степени враждебно относился к этим попам-рясоносцам, которые по казенному служили театрально-пышную службу в казенных церквях, сотрудничая с квартальными надзирателями и тюремщиками. Отсюда—репутация Толстого, как врага поповщины.

Репутация незаслуженная. Толстой враждовал с духовенством выражающейся самодержавной церкви. Он враждовал с синодом Николая II. Его ненависть к казенной церкви была внушена стремлением преобразовать церковь и духовенство, а не уничтожить их.

Говоря о попах, мы вовсе не должны иметь в виду только николаевских попов-чиновников. В эпоху реформации в XVI веке Лютер, Кальвин, Цвингли тоже враждовали с официальным духовенством и боролись гораздо более революционными мерами, чем Толстой. Это не помешало им продолжить в историческом развитии путь для более вредного: протестанского духовенства, для утонченных, умных, хитрых вооруженных усовершенствованными средствами обмана, новых попов.

Лев Толстой ни в коем случае не был принципиальным противником духовенства. Он не был антиклерикалом даже в том смысле, в каком был врагом церковников Вольтер, равно издевавшийся над попами всех времен и всех религий. С толстовской точки зрения, священник должен выделяться среди мирян не рясой, не обрядом рукоположения, не своим чином и званием, а своею способностью давать верующим «подлинное» религиозное утешение.

Религия не может обойтись без духовенства. В классовом обществе духовенство является совершенно необходимым и неизбежным следствием общественной дифференциации. Толстой ненавидел духовенство, как замкнутую и оторвавшуюся от народных масс, касту с особыми привилегиями и преимуществами. Однако он никогда не вел

борьбы против нищенствующего духовенства зародышевых религий. Он был глубоко убежден, что является основоположником новой религии—возрожденного христианства, и сам был первым жрецом и пророком этой религии.

Современные сектантские вожаки хорошо использовали учение и практику Толстого. Они поняли, что попы обновленного христианства должны отрешиться от высокомерной замкнутости старого духовенства, отказаться от его привилегий и внешних отличий, должны по внешности стать нищенствующими проповедниками, чтобы овладеть верующими и сделать их послушным орудием контрреволюции. В этом смысле Толстой положил начало самой худшей и отвратительной поповщине. Место николаевских попов-жандармов заняла сектантская поповщина, ведущая свое начало непосредственно от Толстого, наученная примером и опытом его жизни и деятельности.

В. И. Ленин отметил, что толстовская борьба с казенным поповством имела у Толстого глубоко реакционный характер, так как ставила целью замену старой религии, отвергаемой народными массами, религией подчищенной, более утонченной и поэтому более вредной. «Борьба с казенной церковью,—говорит Ленин,—совмещалась с проповедью новой, очищенной религии, то-есть нового, очищенного, утонченного яда для угнетенных».

В настоящее время, когда казенной церкви не существует, эта заслуга Толстого совершенно обесценена. Осталось только отрицательное реакционное содержание толстовщины, как «нового, утонченного яда».

Толстой, вопреки даже своим личным взглядам на поповство, исторически является столпом и утверждением самой вредной поповщины, проповедником худшего и самого вредного мракобесия.

Ни в чем не проявляется более отчетливо толстовское мракобесие, как в пренебрежительном отношении к науке.

Как проповедник религии, Толстой не желал и не мог быть сторонником научного взгляда на мир, в особенности на общество. Отсюда его борьба с наукой, составляющая характернейшую черту толстовщины. Известно, что Толстой постоянно противопоставлял всем наукам науку о самом человеке. Он полагал, что люди изобрели множество разных наук о самых ненужных и отдаленных вещах, но они, де, забыли самую главную науку, а именно науку о человеке, о его счастье, о правильной жизни согласно велениям «хозяина», то-есть бога.

Собственно, Толстой это знание не называл наукой; но фактически он делал то же самое, что обскуранты всех времен: он заменял науку о природе и обществе наукой о боге и об отношении к нему человека. Эта ложная наука носит название богословия. Большинство сочинений Толстого, по своему содержанию и по способу изложения, относятся к богословию.

Толстой был богословом в таком же смысле, как средневековые церковники, подчинявшие все науки единственной всеобъемлющей

науке о боге. Да он и сам не ставил перед собою иных задач, как только выяснение основного, интересовавшего его вопроса, — вопроса о боге. Здесь толстовщина в полной мере разоблачает себя, как та сила, против которой направлен наш пролетарский атеизм.

Задача всякого богослова заключается в изобретении, в интересах эксплуататорских классов, таких доводов, таких взглядов на жизнь, которые должны опутать туманной идеологией действительные отношения между людьми и скрыть от их глаз причины общественных бедствий. Едва ли кто другой сумел выполнить эту задачу с таким большим искусством и мастерством, чем Толстой. И чем выше это искусство, это мастерство, тем более враждебна толстовщина рабочему классу и его идеологии.

Толстому приписывают необычайное мастерство в изображении психологии. Ему, как художнику, ставится в заслугу, что он сумел довести психологический анализ до глубины, обнажающей самые затаенные тайники души. Это утверждение можно принять только с **очень** большими оговорками. За Толстым укоренилась репутация великого художника. Его художественные произведения считаются гораздо более высокими и ценными, чем его нравственные сочинения, чем его богословие. В особенности высоко стоит репутация Толстого, как «объективного» художника, умеющего описывать просто и ясно то, что происходит в действительности.

Следовало бы сказать более точно: Толстой обладал необычайным умением создавать в своих произведениях **иллюзию реальности**. Тот, кто читает его исторические произведения, хотя бы «Войну и мир», оказывается в плену у художника, почти неспособен освободиться от его влияния и понять, как много здесь исторических неточностей, часто даже нелепостей, как много неправильного в изображении действующих лиц, как чудовищно извращена фигура Наполеона, как бесцеремонно перепутаны исторические события. Над всеми извращениями возвышается создаваемая Толстым иллюзия реальности, очаровывающая и убеждающая.

Сравнивая описание так называемой Отечественной войны у Толстого с документами и памятниками эпохи, нетрудно вскрыть ошибки, несообразности и искажения. Труднее сделать это там, где Толстой изображает ближе стоящих к современности людей, например, в романе «Воскресение». Чтобы достигнуть убедительности, Толстой прибегает к такому приему, как ссылка на документальные факты, которые, будто бы, точно отражены в его романе. Он при случае напоминает читателю, что данное происшествие не выдуманно, а прямо списано из газет. Здесь исторических ошибок как будто нет, но за то есть другая черта, весьма характерная для всего творчества Толстого.

Для выражения душевного состояния и переживаемых чувств люди прибегают к словам, передают чувства при помощи тех или иных выражений. О писателе, богатом выражениями, говорят, что он умеет передавать тончайшие оттенки чувств и настроений. Здесь коренится источник опаснейшей иллюзии: описание чувств заменяет

подлинные чувства. Толстой всю жизнь писал о том, что он чувствует, что он переживает, как он чувствует, как он переживает. Он упорно и настойчиво отвлекал внимание читателя от внешнего мира и направлял его во внутренний мир, в глубину душевных переживаний. Чрезвычайно характерно, что Толстой, как художник, нашел своих последователей, подражавших его приемам, как раз среди тех беллетристов, которые после крушения революции 1905 года играли реакционную роль. Художественную манеру Толстого усвоил, например, Арцыбашев. При всей разнице морального содержания произведений Толстого и Арцыбашева, они сходились в одинаковой манере описывать явления и в одном и том же стремлении отвлечь человека от внешнего мира и заставить его углубиться в собственные переживания.

Человеческая личность, как она изображается Толстым в его художественных произведениях, имеет всегда один и тот же характер: это—оторванные от общества люди, одиночки, не имеющие никаких классовых целей, не ведущие борьбы, считающие самым важным жизненным делом—самопознание.

Познай самого себя,—говорил Толстой,—и ты узнаешь все, что надо для счастья твоей жизни. Переделай самого себя и ты достигнешь блаженства. **Забудь о внешнем мире: он, де, не стоит борьбы...**

Углубленный в самоанализ, самолюбование, бесконечное наблюдение над самим собою и своими переживаниями, человек, вымышленный Толстым в его романах, в конце концов приходит к чистейшей мистике, к обнаружению бога в глубине своей души.

Толстой никогда не пытался даже подойти к проблеме художественного отражения в своих произведениях людей такими, какими он видит их в жизни. Все персонажи его романов и рассказов—переальные, вымышленные, занятые бесцельным анализом собственных переживаний, глубоко равнодушные к общественной жизни, люди антисоциальные по всему своему духовному содержанию. Толстой старался убедить читателя, что иных людей не бывает и быть не должно.

Поэтому художественная манера Толстого, поражающая, почти потрясающая читателя своим глубоким и всеобъемлющим реализмом, описания человеческих чувств в их самых разнообразных выражениях, является фактически искусством создавать иллюзию реальности, закрывать ее искусственными, условными фигурами, отражающими не живых людей, а моральные принципы самого Толстого.

Мы видим, что Толстой,—не абсолютный, не метафизический, не стоящий вне времени и пространства, а такой, каким должен мыслить его—последовательный, марксист, то-есть, в обстановке данного времени и данной общественности, под углом зрения его общественного влияния,—представляет отрицательную культурную величину. Толстовщина есть система религиозно-общественных взглядов, находящаяся на прямо противоположном полюсе от системы

взглядов пролетариата, строящего социализм. Рабочий класс ограничивается объективным рассмотрением общественных явлений. Он ведет борьбу. Толстой и толстовщина относятся к числу явлений, **против которых** трудящиеся массы должны бороться. Чтобы ускорить социальное пробуждение масс, чтобы усилить их активность, разбудить сознательность, сделать их участниками строительства нового общества, пролетариат должен изжить и преодолеть вредное влияние толстовщины. Против толстовщины, как воплощения изживающей себя азиатчины, косности и восточной российской неподвижности,—активное боевое строительство социалистического общества, активный, пролетарский атеизм.

I. УЧЕНИЕ Л. Н. ТОЛСТОГО И ЕГО СОЦИАЛЬНЫЕ КОРНИ.

В. И. ЛЕНИН.

Л. Н. ТОЛСТОЙ И ЕГО ЭПОХА.

Толстовщина—порождение переходного периода 1861—1905 г.г.

Эпоха, к которой принадлежит Л. Толстой и которая замечательно рельефно отразилась как в его гениальных художественных произведениях, так и в его учении, есть эпоха после 1861 и до 1905 г.г. Правда, литературная деятельность Толстого началась раньше и окончилась позже, чем начался и окончился этот период, но Л. Толстой вполне сложился, как художник и как мыслитель, именно в этот период, переходный характер которого породил все отличительные черты и произведений Толстого и «толстовщины».

Устами К. Левина в «Анне Карениной». Л. Толстой чрезвычайно ярко выразил, в чем состоял перевал русской истории за эти полвека.

«... Разговоры об урожае, найме рабочих и т. п., которые Левин знал, принято считать чем-то очень низким., теперь для Левина казались одни важными». «Это, может быть, неважно было при крепостном праве или неважно в Англии. В обоих случаях сами условия определены; но у вас теперь, когда все это перевернулось и только укладывается, вопрос о том, как уложатся эти условия, есть единственный важный вопрос в России»,—думал Левин.

«У нас теперь все это перевернулось и только укладывается»,—трудно себе представить более меткую характеристику периода 1861—1905 годов. То, что «перевернулось», хорошо известно, или по крайней мере, вполне знакомо всякому русскому. Это—крепостное право и весь «старый порядок», ему соответствующий. То, что «только укладывается», совершенно незнакомо, чуждо, непонятно самой широкой массе населения. Для Толстого этот «только укладываемый» буржуазный строй рисуется смутно в виде пугала—Англии. Именно: пугала, ибо всякую попытку выяснить себе основные черты общественного строя в этой «Англии», связь этого строя с господством капитала, с ролью денег, с появлением и развитием обмена,—Толстой отвергает, так сказать, принципиально. Подобно народникам, он не хочет видеть, он закрывает глаза, отвертывается от мысли о том, что «укладывается» в России никакой иной, как буржуазный строй.

Справедливо, что если не «единственно важным», то важнейшим с точки зрения ближайших задач всей общественно-политической деятельности в России для периода 1861—1905 годов (да и для

нашего времени) был вопрос, «как уложится» этот строй, буржуазный строй, принимающий весьма разнообразные формы в Англии, Германии, Америке, Франции и т. д. Но для Толстого такая определенная, конкретно-историческая постановка вопроса есть нечто совершенно чуждое. Он рассуждает отвлеченно, он допускает только точку зрения «вечных» начал нравственности, вечных истин религии, не сознавая того, что эта точка зрения есть лишь идеологическое отражение старого («переворотившегося») строя, строя крепостного, строя жизни восточных народов.

В «Люцерне (писано в 1857 году) Л. Толстой объявляет, что признание «цивилизации» благом есть «воображаемое знание», которое «уничтожает» инстинктивные, блаженнейшие первобытные потребности добра в человеческой натуре». «Один, только один, есть у нас непогрешимый руководитель,—воскликает Толстой,—Всемирный Дух, проникающий нас!».

В «Рабстве нашего времени» (писано в 1902 году) Толстой, повторяя еще усерднее эти апелляции к Всемирому Духу, объявляет «мнимой наукой» политическую экономию за то, что она берет «за образец» маленькую, находящуюся в самом исключительном положении, «Англию»,—вместо того, чтобы брать за образец «положение людей всего мира за все историческое время». Каков этот «весь мир», это нам открывает статья «Прогресс и определение образования» (1862 г.). Взгляд «историков», будто прогресс есть общий закон для человечества,—Толстой побивает ссылкой на «весь, так называемый Восток» (IV. 162). «Общего закона движения вперед человечества нет,—заявляет Толстой,—как то нам доказывают неподвижные восточные народы».

Толстовщина—идеология азиатского строя и «восточной» неподвижности.

Вот именно идеологией восточного строя, азиатского строя и является толстовщина в ее реальном историческом содержании. Отсюда и аскетизм, и непротивление злу насилем, и глубокие нотки пессимизма, и убеждение, что «все—ничто, все материальное—ничто» («О смысле жизни», стр. 52), и вера в «Дух», «начало всего», по отношению к каковому началу человек есть лишь «работник», «приставленный к делу спасения своей души», и т. д. Толстой верен этой идеологии и в «Крейцеровой сонате», когда он говорит: «эмансипация женщины не на курсах и не в палатах, а в спальне»—и в статье 1862 года, объявляющей, что университеты готовят только «раздраженных, больных либералов», которые «совсем не нужны народу», «бесцельно оторваны от прежней среды», «не находят себе места в жизни» и т. п.

Пессимизм, непротивленство, апелляция к «Духу» есть идеология, неизбежно проявляющаяся в такую эпоху, когда весь старый строй «переворотился» и когда масса, воспитанная в этом старом строе, с молоком матери впитавшая в себя начала, привычки,

традиции, верования этого строя, не видит и не может видеть, каков «укладывающийся» новый строй, **какие** общественные силы и как именно его «укладывают», **какие** общественные силы **способы** принесли избавление от неисчислимых, особенно острых отсутствий, свойственных эпохам «ломки».

Период 1862—1904 годов был именно такой эпохой ломки в России, когда старое бесповоротно у всех на глазах рушилось, а новое только укладывалось, при чем общественные силы, эту укладку творящие, в первые показали себя на деле, в широком общенациональном масштабе, в массовидном, открытом действии на самых различных поприщах лишь в 1905 году. А за событиями 1905 года в России последовали аналогичные события в целом ряде государств того самого «Востока» на «неподвижность» которого ссылался Толстой в 1862 году, 1905 год был началом конца «восточной» неподвижности. **Именно поэтому этот год принес с собой исторический конец толстовщине, конец всей той эпохи, которая могла и должна была породить учение Толстого—не как индивидуальное нечто, не как каприз или оригинальничание, а как идеологию условий жизни, в которых, действительно, находились миллионы и миллионы в течение известного времени.**

Учение Толстого утопично и реакционно, несмотря на наличие в нем критических элементов.

Учение Толстого безусловно утопично и по своему содержанию реакционно в самом точном и в самом глубоком значении этого слова. Но отсюда вовсе не следует ни того, чтобы это учение не было социалистическим, ни того, чтобы в нем не было критических элементов, способных доставлять ценный материал для просвещения передовых классов.

Есть социализм и социализм. Во всех странах с капиталистическим способом производства есть социализм, выражающий идеологию класса, идущего на смену буржуазии, и есть социализм, соответствующий идеологии классов, которым идет на смену буржуазия. Феодалный социализм есть, например, социализм последнего рода, и характер такого социализма давно, свыше 60 лет тому назад, оценен был Марксом на ряду с оценкой других видов социализма.

Далее. Критические элементы свойственны утопическому учению Л. Толстого так же, как они свойственны многим утопическим системам. Но не надо забывать глубокого замечания Маркса, что значение критических элементов в утопическом социализме «стоит в обратном отношении к историческому развитию». Чем больше развивается, чем более определенный характер принимает деятельность тех общественных сил, которые «укладывают» новую Россию и несут избавление от современных социальных бедствий, тем быстрее критически-утопический социализм «лишается всякого практического смысла и всякого теоретического оправдания».

Четверть века тому назад критические элементы учения Толстого могли на практике приносить иногда пользу некоторым слоям населения **вопреки** реакционным и утопическим чертам толстовства. В течение последнего, скажем, десятилетия это не могло быть так, потому что историческое развитие шагнуло немало вперед с 80-х годов до конца прошлого века. А в наши дни, после того, как и ряд указанных выше событий положил конец «восточной» неподвижности, в наши дни, когда такое громадное распространение получили сознательно реакционные, в узко-классовом, в корыстно-классовом смысле реакционные идеи «веховцев» среди либеральной буржуазии,—когда эти идеи заразили даже часть, почитай-что, марксистов, создав «ликвидаторское» течение—в наши дни всякая попытка идеализации учения Толстого, оправдания или смягчения его «непротивленства», его апелляций к «Духу», его призывов к «нравственному самоусовершенствованию», его доктрины «совести», всеобщей «любви», его проповеди аскетизма и квиетизма и т. п. приносят самый непосредственный и самый глубокий вред.

(Собр. соч., т. XI, ч. II, стр. 171—175; впервые было напечатано в «Звезде», № 6 от 22 января 1911 г.).

В. И. ЛЕНИН.

Л. Н. ТОЛСТОЙ.

Толстой—выразитель исторического своеобразия первой русской революции, ее силы и слабости.

Умер Лев Толстой. Его мировое значение, как художника, его мировая известность, как мыслителя и проповедника, и то и другое отражает по-своему мировое значение русской революции.

Л. Н. Толстой выступил, как великий художник, еще при крепостном праве. В ряде гениальных произведений, которые он дал в течение своей более чем полувековой литературной деятельности, он рисовал преимущественно старую, дореволюционную Россию, оставшуюся и после 1861 года в полукрепостничестве, Россию деревенскую, Россию помещика, и крестьянина, Рисуя эту полосу в исторической жизни России, Л. Толстой сумел поставить в своих работах столько великих вопросов, сумел подняться до такой художественной силы, что его произведения заняли одно из первых мест в мировой художественной литературе. Эпоха подготовки революции в одной из стран, придавленных крепостниками, выступила, благодаря гениальному освещению Толстого, как шаг вперед в художественном развитии всего человечества.

Толстой-художник известен ничтожному меньшинству даже в России. Чтобы сделать его великие произведения действительно достоянием всех, нужна борьба и борьба против такого общественного строя, который осудил миллионы и десятки миллионов на темноту, забитость, каторжный труд и нищету, нужен социалистический переворот.

И Толстой не только дал художественные произведения, которые всегда будут ценны и читаемы массами, когда они создадут себе человеческие условия жизни, свергнув иго помещиков и капиталистов—он сумел с замечательной силой передать настроение широких масс, угнетенных современным порядком, обрисовать их положение, выразить их стихийное чувство протеста и негодования. Принадлежа, главным образом, к эпохе 1861—1904 годов, Толстой поразительно рельефно воплотил в своих произведениях—и как художник, и как мыслитель, и проповедник,—черты исторического своеобразия всей первой русской революции, ее силу и ее слабость.

Одна из главных отличительных черт нашей революции состоит в том, что это была **крестьянская** буржуазная революция в эпоху очень высокого развития капитализма во всем мире и сравнительно высокого в России. Это была буржуазная революция, ибо ее непосредственной задачей было свержение царского самодержавия, царской монархии и разрушение помещичьего землевладения, а не свержение господства буржуазии. В особенности крестьянство не сознавало этой последней задачи, не сознавало ее отличия от более близких и непосредственных задач борьбы. И это была крестьянская буржуазная революция, ибо объективные условия выдвинули на первую очередь вопрос об изменении коренных условий жизни крестьянства, о ломке старого средневекового землевладения, о «расчистке земли» для капитализма, объективные условия выдвинули на арену более или менее самостоятельного исторического действия крестьянские массы.

Толстой—выразитель настроений примитивной крестьянской демократии.

В произведениях Толстого выразилась и сила, и слабость, и мощь, и ограниченность именно крестьянского массового движения. Его горячий, страстный, нередко беспощадно-резкий протест против государства и полицейски-казенной церкви передает настроение примитивной крестьянской демократии, в которой века крепостного права, чиновничьего произвола и грабежа, церковного иезуитизма, обмана и мошенничества накопили горы злобы и ненависти. Его непреклонное отрицание частной поземельной собственности передает психологию крестьянской массы в такой исторический момент, когда старое средневековое землевладение и помещичье и казенно-«надельное» стало окончательно нестерпимой помехой дальнейшему развитию страны, и когда это старое землевладение неизбежно подлежало самому крутому, беспощадному разрушению. Его непрестанное, полное самого глубокого чувства, самого пылкого возмущения обличение капитализма передает весь ужас патриархального крестьянина, на которого стал надвигаться новый, невидимый, непонятный враг, идущий откуда-то из города или откуда-то из-за границы, разрушающий все «устои» деревенского быта, несущий

с собою невиданное разорение, нищету, голодную смерть, одичание, проституцию, сифилис—все бедствия эпохи «первоначального накопления», обостренные во сто крат перенесением на русскую почву самоновейших приемов грабежа, выработанных господином Купоном.

Толстовское непротивление злу—очищенный утонченный яд для угнетенных масс.

Но горячий протестант, страстный обличитель, великий критик обнаружил, вместе с тем, в своих произведениях такое непонимание причин кризиса и средств выхода из кризиса, надвигающегося на Россию, которое свойственно только патриархальному, наивному крестьянину, а не европейски-образованному писателю. Борьба с крепостническим и полицейским государством, с монархией превращалась у него в отрицание политики, приводила к учению о «непротивлении злу»—привела к полному отстранению от революционной борьбы масс 1901—1907 г.г. **Борьба с казенной* церковью совмещалась с проповедью новой, очищенной религии, то-есть нового, очищенного, утонченного яда для угнетенных масс.** Отрицание частной поземельной собственности вело не к сосредоточению всей борьбы на действительном враге, на помещице землевладении и его политическом орудии власти, т.-е. монархии, а к мечтательным, расплывчатым, бессильным воздыханиям. Обличение капитализма и бедствий, причиняемых им массам, совмещалось с совершенно апатичным отношением к той всемирной освободительной борьбе, которую ведет международный социалистический пролетариат.

Противоречия во взглядах Толстого—не противоречия его только личной мысли, а отражение тех в высшей степени сложных, противоречивых условий, социальных влияний, исторических традиций, которые определяли психологию различных классов, различных слоев русского общества в пореформенную, но дореволюционную эпоху.

И поэтому **правильная оценка Толстого возможна только с точки зрения того класса, который своей политической ролью и своей борьбой во время первой развязки этих противоречий, во время революции, доказал свое призвание быть вождем в борьбе за свободу народа, и за освобождение масс от эксплуатации,—доказал свою беззаветную преданность делу демократии и свою способность борьбы с ограниченностью и непоследовательностью буржуазной (в том числе и крестьянской) демократии—возможна только с точки зрения социал-демократического пролетариата.**

Попы и буржуазия цепляются за реакционные элементы в учении Толстого.

Посмотрите на оценку Толстого в правительственных газетах. Они льют крокодиловы слезы, уверяя в своем уважении к «великому писателю» и в то же время защищая «святейший» синод.

А святейшие отцы только что проделали особенно гнусную мерзость, подсылая попов к умирающему, чтобы надуть народ и сказать, что Толстой «раскаялся». Святейший синод отлучил Толстого от церкви. Тем лучше. Этот подвиг зачтется ему в час народной расправы с чиновниками в рясах, с жандармами, во христе, с темными инквизиторами, которые поддерживали еврейские погромы и прочие подвиги черносотенной царской шайки.

Посмотрите на оценку Толстого либеральными газетами. Они отделяются теми пустыми, казенно-либеральными, избито-профессорскими фразами о «голосе цивилизованного человечества», о «единодушном отклике мира», об «идеях правды, добра» и т. д., за которые так бичевал Толстой—и справедливо бичевал—буржуазную науку. Они не могут высказать прямо и ясно своей оценки взглядов Толстого на государство, на церковь, на частную поземельную собственность, на капитализм,—не потому, что мешает цензура; наоборот, цензура помогает им выйти из затруднения,—а потому, что каждое положение в критике Толстого есть пощечина буржуазному либерализму,—потому, что одна уже безбоязненная, открытая, беспощадно-резкая постановка Толстым самых больных, самых проклятых вопросов нашего времени бьет в лицо шаблонным фразам, избитым вывертам, уклончивой, «цивилизованной» лжи нашей либеральной (и либерально-народнической) публицистики. Либералы горой за Толстого, горой протов синода—вместе с тем они за... веховцев, с которыми «можно спорить», но с которыми «надо» ужиться в одной партии, «надо» работать вместе в литературе и в политике. А веховцев лобызает (митрополит) Антоний Волинский.

Либералы выдвигают на первый план, что Толстой—«великая совесть». Разве это не пустая фраза, которую повторяют на тысячи ладов «Новое время», и все ему подобные? Разве это не обход тех **конкретных** вопросов демократии и социализма, которые Толстым **поставлены**? Разве это не выдвигает на первый план того, что выражает предрассудок Толстого, а не его разум, что принадлежит в нем прошлому, а не будущему, его отрицанию политики и его проповеди нравственного самоусовершенствования, а не его бурному протесту против всякого классового господства?

Лишь пролетариат может правильно использовать толстовскую критику капитализма.

Умер Толстой, и отошла в прошлое дореволюционная Россия, слабость и бессилие которой выразились в философии, обрисованы в произведениях гениального художника. Но в его наследстве есть то, что не отошло в прошлое, что принадлежит будущему. Это наследство берет и над этим наследством работает российский пролетариат. Он раз'яснит массам трудящихся и эксплуатируемых значение толстовской критики государства, церкви, частной поземельной собственности—не для того, чтобы массы ограничивались проклятиями по адресу капитала и власти о божеской жизни, а для того, что они поднялись для нанесения нового удара

царской монархии и помещицкому землевладению, которые в 1905 году были только слегка надломаны и которые надо уничтожить. Он разъяснит массам толстовскую критику капитализма—не для того, чтобы массы ограничивались проклятиями по адресу капитала и власти денег, а для того, чтобы они научились опираться на каждом шагу своей жизни и своей борьбы на технические и социальные завоевания капитализма, научились спланировать в единую миллионную армию социалистических борцов, которые свергнут капитализм и создадут новое общество без нищеты народа, без эксплуатации человека человеком.

Собр. соч., т. XI, ч. II, стр. 116—119, впервые было напечатано в «Социал-Демократе», № 18 от 16 ноября 1910 г.).

Г. В. ПЛЕХАНОВ.

Смешение представлений.

(Учение Л. Н. Толстого).

Основной элемент толстовщины—непротivление злу.

Теперь очень много толкуют о Толстом. Но чем больше толкуют о нем, тем больше затемняют, хотя разумеется, и невольно, истинный смысл его доктрины. Можно сказать, не опасаясь преувеличения, что о Толстом уже наговорено значительно больше вздора, чем о каком бы то ни было другом писателе. Но мешает поэтому хорошенько припомнить, чему собственно, учил Толстой.

Он думал, что его учение есть не что иное, как правильно понятое учение христа, выражающееся в словах: «Не противьтесь злу». В книге «В чем моя вера»?—он говорит: «Слова эти **не противьтесь злу, или злему**, понятные в их прямом значении,—были для меня истинно ключем, открывшим мне все. И мне стало удивительно, как я мог так навыворот помнить ясные, определенные слова. Вам сказано: зуб за зуб, а я говорю: не противься злу или злему, и что бы с тобой ни сделали злые, терпи, отдавай, но не противься злу или злым. Что может быть яснее, понятнее и несомненнее этого? И стоило мне понять эти слова просто и прямо, как они сказаны, и тотчас же во всем учении христа, не только в нагорной проповеди, но во всех евангелиях, все, что было запутано, стало понятно, что было противоречиво, стало согласно, и главное, что казалось излишне, стало необходимо. Все слилось в одно целое и несомненно подтверждало одно другое, как куски разбитой статуи, составленные, так, как они должны быть» ¹⁾.

Толстого думали смутить, спрашивая его: а что вы стали бы делать, если бы пришли зулу и захотели изжарить ваших детей ²⁾. Но он не смущался:

¹⁾ Л. Н. Толстой. «В чем моя вера», 1909, стр. 14.

²⁾ Человек, поставивший ему этот вопрос, как видно, считал зулусов людоедами. Это ошибка, на которой здесь останавливаться, однако, не стоит.

«Все люди братья,—отвечал он,—все одинакие. И если пришли зулу, чтобы изжарить моих детей, то одно, что я могу сделать, это постараться внушить зулу, что это ему невыгодно и нехорошо,—внушить, покоряясь ему по силе. Тем более, что мне нет расчета с зулу бороться. Или он одолеет меня и еще более детей моих изжарит, или я одолею его и дети мои завтра заболеют и в мучениях худших умрут от болезни» ¹⁾.

Тут много неясного и даже прямо удивительного, по крайней мере, на первый взгляд. Больше всего поражает ссылка на то, что, если я вырзу своих детей из рук кровожадного «зулу», то они завтра умрут от болезни. Невольно возникает вопрос: неужели это случится с ними за грехи родителя. Но мы сейчас увидим, что это не так страшно, как представляется сначала. Далее остается неясным, как надо понимать слова Толстого о том, что «зулу» еще более изжарит моих детей, если я стану ему сопротивляться: значит ли это, что вместо двух ребят, он изжарит, например, четырех, или что то же число детей подвергнется более продолжительному действию огня, или еще что-нибудь другое? Наконец, в данном случае, трудно согласиться и с тем, что «все люди одинакие». Это как для кого! Для того, кого собираются посадить на вертел, людоед совсем не одинаков с человеком, воздерживающимся от употребления в пищу человеческого мяса. Но я не хочу спорить с Толстым. Да и нет мне «расчета» с ним спорить: у него так много противоречий, что все равно за всеми не угоняешься. Лучше определить, почему его учение так богато противоречиями. А для этого нужно понять его внутреннюю природу.

Вернемся к «непротивлению злу». Только что рассмотренный нами пример зулуса, пожирающего детей, достаточно выразителен. Не менее выразителен и следующий пример.

На вопрос: «Если на моих глазах мать засекает своего ребенка, что мне делать?»—Толстой отвечает:—«Одно,—поставить себя на место ребенка» ²⁾.

Кто думает, что дальше идти в этом направлении нельзя, тот ошибается: Толстой идет еще дальше. Он думает, что человек, на которого напала бешеная собака, поступит хорошо, если не будет ей сопротивляться. Это кажется невероятным. Поэтому я предоставляю слово самому Толстому:

«Мне следует помнить, что лучше, чтобы любимый мною человек теперь же, при мне, умер от того, что он не хотел лишиться жизни хотя бы бешеную собаку, чем то, чтобы он умер от об'ядения через много лет и пережил меня» ³⁾.

Сомнения нет. Не следует лишать жизни «хотя бы бешеную собаку», хотя бы для спасения жизни человека. И вот возникает

¹⁾ «Спелые колосья». Сборник мыслей и афоризмов, извлеченных из частной переписки Л. Н. Толстого, составил с разрешения автора Д. Кудрявцев. 1896, стр. 220.

²⁾ «Спелые Колосья», стр. 210. См. также брошюру «О борьбе со злом посредством непротивления» и многие места в книге «В чем моя вера?».

³⁾ «Спелые Колосья», стр. 40.

вопрос: если убийство бешеной собаки человеком зло, то почему же не зло убийство человека бешеной собакой? А если это тоже зло, то интересно знать, какое же из этих двух зол—меньшее. А если я знаю, какое из них меньшее, то понятно, почему я не должен предпочесть его большему. И, кажется, всякий здравомыслящий человек должен сказать: из двух зол непременно следует выбирать меньшее. Смерть бешеной собаки есть несравненно меньшее зло, чем смерть человека; поэтому лучше убить собаку, чем пожертвовать человеком. Однако, с точки зрения Толстого дело представляется в ином виде.

Учение о непротивлении основано на противопоставлении души телу.

Для его понимания полезно заметить, что рассуждению о бешеной собаке у него предшествуют следующие слова: «На известной ступени духовного развития человеку следует воздерживаться от усиления в себе чувства личной жалости к другому существу. Чувство это само по себе животное, и у чуткого человека оно всегда проявляется в достаточной силе без искусственного разжигания. Поощрять в себе следует сострадание духовное. Душа любимого человека всегда должна быть для меня дороже тела» ¹⁾.

Заметьте это противопоставление «животной» жалости «состраданию духовному», «тела»—«душе». Им объясняется, почему Толстой думает, что бешеной собаки не следует убивать даже и тогда, когда от этого зависит спасение человеческой жизни и почему не следовало бы сопротивляться «зулу» даже и в том случае, если бы сопротивление могло спасти «моих детей». Неприятно быть с'еденным «зулу», и неприятно быть искусанным бешеной собакой. Но эти неприятности чисто телесные; им не следует придавать большое значение. Сегодня вас спасли от бешеной собаки, а «через много лет» вы умрете от об'ядения; сегодня моих детей вырвали из рук кроважадного «зулу», а завтра их унесет какая-нибудь эпидимия. Не следует усиливать в себе чувство жалости к телу—душа дороже тела. А душа не может помириться с насилием, хотя бы оно совершалось ради самых очевидных интересов тела.

Не подумайте, что Толстой равнодушно говорит только о чужих страданиях. Нет, он и на свои собственные страдания смотрит,—по крайней мере, хочет смотреть,—с меньшим равнодушием. Он говорит: «Ну—болит зуб или живот, или найдет грусть и болит сердце. Ну, и пускай болит, а мне что за дело. Либо поболит и пройдет, либо так и умру от этой боли. Ни в том, ни в другом случае нет ничего дурного» ¹⁾. Это не эгоизм, а просто пренебрежение «телом» во имя «духа». Такое пренебрежение было когда-то свойственно христианам. И с этой стороны учение Толстого в самом деле имеет много общего с христианским.

¹⁾ Там же, стр. 39—40.

В другом месте он говорит: «Надо заменять мирское, временное вечным—это путь жизни и по нем-то надо идти нам»¹⁾. Тут противопоставление мирского и временного вечному имеет у него тот же самый смысл, как и вышеуказанное противопоставление интересов тела интересам духа. Признайте его теоретическую и практическую правомерность, и вы сами должны будете согласиться, что его отношение к «зулу» совершенно правильно. Ведь важно только вечное, а «зулу» не вечен: причиняемые им страдания только временные. То же и с розгами, то же и с бешеной собакой. Логика имеет свои неоспоримые права.

Учение Толстого дуалистично.

Учение Толстого о непротивлении злу целиком основывается на протизопоставлении «вечного»—«временному»,—«духа»—«телу». Присмотримся поближе к этому противопоставлению.

В том виде, какой оно имеет у Толстого, оно равносильно противопоставлению **внутреннего** человеческого мира, рассматриваемого под углом нравственных потребностей и стремлений,—окружающему человеку **внешнему миру**. Собственное тело всякого данного индивидуума, равно как и тело всякого из его близких, представляется при этом составной частью внешнего мира. Это—один из способов противопоставления сознания бытию. Он нередко встречается в истории мысли, но у Толстого он приобретает большую выпуклость, вследствие чего с большой силой выступают все свойственные ему противоречия.

Толстовское учение проникнуто крайним идеализмом.

Сознание не независимо от бытия. Оно сначала определяется им, а потом воздействует на него, помогая, таким образом, его дальнейшему самоопределению. Это более или менее ясно понимают или «чувствуют инстинктом» не только люди, но и многие высшие животные. Если бы высший животный мир перестал чувствовать эту истину, он прекратил бы свою борьбу за существование. т.-е. исчез бы с лица земли. Разумеется, истина эта известна и Толстому. Почему не следует вырывать ребенка из рук засекающей его матери? Потому, что она еще более озлобится под влиянием учиненного над ней «насилия», а вследствие этого увеличится сумма зла в мире. Но «насилие» над этой мегерой явилось бы воздействием на нее со стороны внешнего мира. Стало быть, состояние ее сознания определилось бы бытием. Иногда Толстой идет еще дальше в области материалистического объяснения явлений внутреннего мира. Он говорит: «На всех находят тяжелые минуты, большей частью имеющие физическую причину»²⁾. Но все это лишь отдельные замечания, отрывочные проблески материалистической мысли, не сливающиеся

¹⁾ «Спелые Колосья», стр. 176.

²⁾ «Спелые Колосья», стр. 130.

в одно целое и к тому же выраженные весьма неудовлетворительно. В своем мирозерцании Толстой остается крайним идеалистом, в глазах которого материализм есть чистейшая бессмыслица. И когда этот крайний идеалист выступает в роли учителя жизни, он обеими ногами переходит на точку зрения полной независимости внутреннего мира от внешнего.

«Людам бывает дурно только от того,—говорит он,—что они сами живут дурно. И нет ничего вреднее для людей той мысли, что причины бедственности их положения не в них самих, а во внешних условиях. Стоит только человеку или обществу людей вообразить, что испытываемое им зло происходит от внешних условий, и направить свое внимание и силы на изменение этих внешних условий, и зло будет только увеличиваться. Но стоит человеку или обществу людей искренно обратиться на себя, и в себе и в своей жизни поискать причины того зла, от которого он или оно страдает, и причины эти тотчас же найдутся и сами собой уничтожатся» ¹⁾.

Нельзя дальше идти в признании независимости внутреннего мира человека от внешних условий. Но если внутренний мир человека от этих условий совершенно не зависит, то и нет никакой надобности влиять на эти условия в интересах внутреннего мира. Обращаясь к рабочим, Толстой советует им отказываться от участия в войсках и от работ на землях помещиков. Но он советует это по его собственным словам, «не потому, что это рабочим невыгодно и производит их порабощение, а потому, что участие это есть дурное дело» ²⁾. Он прямо говорит: «Во всяком случае, все улучшения в положении рабочих произойдут только от того, что они сами будут поступать более согласно с волей бога, более по совести, т.-е. более нравственно, чем они поступали прежде». Это значит, что объявление независимости внутреннего мира от внешнего равносильно провозглашению ненужности планомерного воздействия человека на окружающие его внешние условия, контроля сознания над бытием. И Толстой действительно провозглашает эту ненужность. Он пишет:

«Мы все забываем, что учение христа не есть учение вроде моисеева, магометова и всех других человеческих учений, т.-е. учений о правилах, которые надо исполнять. Учение христа есть евангелие, т.-е. учение о благе. Кто жаждет—иди и пей. И потому по этому учению нельзя никому ничего предписывать, никого ни в чем нельзя укорять, никого нельзя осуждать» ³⁾.

Если нельзя никого осуждать и нельзя никому ничего предписывать, то очевидно, что следует предоставить внешнему миру быть тем, чем он был до сих пор. Нельзя ничего делать для его исправления. «Одно, что можно, что и делали и всегда будут делать хри-

¹⁾ Л. Н. Толстой, «К рабочему народу», стр. 39.

²⁾ Там же, стр. 22.

³⁾ „Спелые Колосья“, стр. 17.

стиане,—говорит Толстой,—это чувствовать себя блаженными и желать сообщить ключ к блаженству другим людям» ¹⁾).

В другом месте он ту же самую мысль выражает еще яснее.

«Когда видишь, что человек, которого любишь, грешит, то не можешь не желать того, чтобы он покался; но при этом я должен помнить, что в лучшем случае, т.-е. при самой безусловной искренности, он может каяться только в пределах своей совести, а не в пределах моей.

«Требования моей совести от меня гораздо выше требований его совести от него, и было бы совсем безрассудно с моей стороны мысленно навязывать ему требования моей совести.

«Кроме того, в этих случаях не следует забывать и того, что, как бы человек не был виноват, никакие споры с ним, ни обличения, ни увещевания сами по себе не в силах заставить его покаяться, так как каяться человек может только сам, другой же никак не может его раскаять».

Если никакие споры, ни обличения, ни увещевания сами по себе не в силах заставить человека покаяться, то нужно ли спорить, обличать, увещевать? Если один человек никак не может «раскаяться» другого, то нужно ли распространять свои идеи?.. У Толстого выходит, что совсем не нужно. Вот прочтите:

«Очень рад тому, что в последние три года во мне исчезло всякое желание прозелитизма; которое было во мне очень сильно. Я так твердо уверен в том, что, то, что для меня истина, есть истина для всех людей, что вопрос о том, когда какие люди придут к этой истине, мне не интересен».

Учение Толстого о жизни не выдерживало критики жизни.

Но в таком случае, какой же смысл имеет знаменитое толстовское: «Не могу молчать!». Какой смысл имеет та его проповедь против смертной казни, которая, привлекала к нему горячие симпатии во всех странах цивилизованного мира? **Только тот, что Толстой не всегда оставался толстовцем.** Только тот, что, провозгласив независимость внешнего мира человека от внутреннего, он **вынужден был по временам признавать эту зависимость.** Только тот, что, объявив контроль сознания над бытием ненужным и невозможным, он **вынужден был признавать его и возможным и нужным.** Другими словами—только тот, что его противопоставление «вечного» «временному» не выдерживало критики жизни, и что он сам не мог по временам не отказываться от этого противопоставления. Еще иначе: Толстой представлялся своим современникам великим учителем жизни только тогда, когда он отказывался от своего учения о жизни.

И так было не только там, где речь шла о смертной казни. Так было решительно везде. Толстой говорит:

¹⁾ Там же, стр. 18.

«Собственность это фикция,—которая существует только для тех, кто верит Мамону и потом служит ему.

«Верующий в учение христа освобождается от собственности не каким-нибудь поступком, не передачей собственности сразу или понемногу в другие руки (не признавая значения собственности для себя, он не может придавать значения ее и для других), а христианин освобождается от нее внутренно, сознанием того, что ее нет и не может быть, главным же образом, тем, что она ему не нужна, ни для себя, ни для других» ¹⁾).

Когда не признаешь значения собственности для себя, нельзя, оставаясь последовательным, признавать ее значение для других. Это правильно. А если это правильно, то правилен и тот вывод, что христианин должен освободиться от собственности «внутренно», а каким-нибудь «поступком»,—например, не передавать собственности в другие руки. **Обладая изумительным художественным талантом, граф Толстой далеко не отличался силой логики.** Он очень часто себе противоречил. Но здесь его логика безупречна; здесь его вывод неоспорим.

Отношение Толстого к своей семье, не разделявшей его учения, заведшее его в тупик, было последовательным «непротивлением».

Теперь я спрашиваю вас, читатель: что же нам думать о тех людях,—может быть, и вы были в их числе,—которые не переставали требовать от графа Толстого «поступка» вроде передачи им своей земли яснополянским крестьянам, и которые весьма огорчались тем, что он так и не совершил подобного «поступка»?

По-моему, о таких людях можно—извините—сказать только одно: они добры, но не умны. И во всяком случае, они совсем не поняли графа Толстого.

В той же книге «Спелые Колосья», в которой находится только что приведенное место о собственности, мы находим еще вот какое рассуждение:

«Если бы вы свою собственность просто бросили, не давая никому (разумеется, не соблазняя людей тем, чтобы избыть ее нарочно), и показали бы, что вы не только так же, но еще более радостны, спокойны добры и счастливы без собственности, как с нею, то вы гораздо более подействовали бы на людей и сделали бы им больше добра, чем если бы вы приманивали их дележом своего избытка».

Кажется ясно. А дальше еще яснее, если только можно выражаться яснее:

«Я не говорю, что не надо действовать на других, помогать им, напротив, я считаю, что в этом жизнь. Но помогать надо чистым средством, а не нечистым—собственностью. Для того, чтобы быть в состоянии помогать, главное дело, пока мы сами не чисты,—очищать себя» ¹⁾).

¹⁾ Там же, стр. 153.

Граф Толстой усердно «очищал себя». Это представлялось и должно было представляться ему «главным делом». А от него ждали и требовали «поступка», совершив который, он изменил бы самому себе. Где же тут логика?

Я знаю: мне возразят, что граф Толстой не «просто бросил» свою землю, а совершил «поступок», отдав ее своей семье, и что последствия этого «поступка» заставляли сильно страдать его самого. Еще недавно г. Буланже следующим образом подкреплял свой проект организации фонда для выкупа в пользу крестьян Ясно-Полянской земли.

«Всякий, кому приходилось стаякиваться со Львом Николаевичем, мог заметить, какое страдание доставляло ему то сознание, что имение, в котором он жил, он закрепил много лет тому назад за своими наследниками, и оно принадлежит людям, которые будут в той или иной форме эксплуатировать трудящихся на них крестьян. Трудно представить, какую каторгу представляла для него в этом отношении жизнь в Ясной Поляне. Черкес, охранявший барское добро и не стеснявшийся расправой с крестьянами, поимка баб, собирающих траву, приказчиком, сдача в аренду земли крестьянам Ясной Поляны».

Все это так. Я понимаю, разумеется, что «черкес» должен был сильно мучить Толстого. Еще бы. Но это обстоятельство нисколько не изменяет внутренней логики толстовского учения. Мы уже видели, какова эта логика.

Данный человек живет в роскоши. По учению Толстого, это значит, что у него много собственности, основанной на чужом труде и защищаемой с помощью насилия. Это—зло. Что же делать? Что предпринять по отношению к этому человеку?

Толстой отвечает: «Я могу по грубости своей, отнять у него возможность роскоши и заставить его работать. Если я сделаю это, я ни на волос не подвину дело божие—не двину душу этого человека».

Это уже знакомое нам противопоставление интересов «души» интересам «тела», «вечного» «временному». Поведение Толстого определяется интересами «души», требованиями «вечного». «Я не буду,—рассуждает он,—ничего делать, ни говорить, для того, чтобы заставить этого человека делать дело божье, а буду только жить с ним в общении, отыскивая и усиливая все то, что нас соединяет, и отстраняясь от всего того, что мне чуждо. Это—единственное средство исправления человека широко пользующегося собственностью, основанной на чужом труде. Но это верное средство: и если я сам делаю дело божье и живу им, я вернее смерти привлеку человека к богу и заставлю делать дело его» ¹⁾.

Мы не обязаны разделять оптимизм Толстого: грешник, живущий в роскоши, т.-е. эксплуатирующий чужой труд, может остаться нераскаянным. И все-таки мы должны признать, что Толстой изменил

¹⁾ „Спелые Колосья“, стр. 32.

бы себе, если бы отнесся иначе к грешнику, эксплуатирующему чужой труд. Логика имеет свои ненарушимые права. Но если это так, то очень плохо усвоили себе логику учения Толстого люди, огорчившиеся тем, что он передал Ясную Поляну в собственность своей семьи.

Он мог бы, «по грубости своей», отдать свою землю крестьянам, отнявши этим у своего семьи возможность роскоши и заставив ее работать. Но если бы он сделал это, он ни на волос не подвинул бы «дела божия», как он его понимал; он не двинул бы душ членов своей семьи. И вот, дорожа божьим делом, он повел себя иначе. Он сохранил за своей семьей материальную возможность роскошной и праздной жизни и продолжал пребывать с нею в общении, отыскивая и усиливая все то, что его с нею соединяло, и стараясь отстраниться от всего, что было ему чуждо.

Если судить по известному выступлению графа Л. Н. Толстого в «Новом Времени», тактика эта показала себя не весьма плодотворной, но это нас здесь не касается.

Я вообще думаю, что **толстовская тактика борьбы со злом неизлечимо бесплодна**. И все-таки я вижу, что в данном случае его поведение нимало не противоречило его учению. Напротив, совершенно гармонировало с ним.

Толстой писал: «Дело христианина не в каком-нибудь известном положении, а в исполнении воли бога. Воля же бога в том, чтобы на требования жизни отвечать так, как того требует любовь к богу и людям; и потому определять близость или отдаленность себя и других от идеала христа никак нельзя по тому положению, в котором находится человек, или по тем поступкам, которые он совершает» ¹⁾.

А от него требовали определенного «**поступка**», хотели, чтобы он поставил себя именно в то, а не в другое положение. Кто же был непоследователен?

Он всячески старался образумить упрекавших. Он говорил им: «один человек, оставив жену или мать, или отца, огорчив и озлобив их, этим делом не совершает почти дурного поступка, потому что он не чувствует причиняемой боли; другой же, сделав тот же поступок, сделал бы поступок гадкий, потому что он чувствует вполне боль, которую причиняет» ²⁾.

Толстой находил, что, уйдя из Ясной Поляны, он совершил бы дурной поступок, так его уход причинил бы боль его близким и озлобил бы их. И он не уходил. Против этого решительно ничего нельзя было возразить с точки зрения его проповеди. Напротив! Надо было признать, что его поведение безупречно. А ему писали нелепые письма, к нему приставали с бессмысленными упреками в непоследовательности! Где же справедливость?

Подумайте только! Человек проповедует, что не следует противиться кроважному «зулу», пожирающему беззащитного ребенка:

¹⁾ „Спелые Колосья“, стр. 98.

²⁾ Там же, стр. 99.

противление было бы грехом, потому что еще более озлобило бы людоеда. Ему, т.-е. проповеднику, не людоеду,—сперва возражают (Михайловский и др.), а потом перестают возражать, и ограничиваются рукоплесканиям. Он, т.-е. опять-таки проповедник а не людоед,—учит, что если мать засекает своего ребенка, то единственное, что мы имеем право позволить себе, это подставить разгневанной мегере свою собственную спину. Слушатели не смеются, а продолжают рукоплескать. Наконец, он учит, что не следует «противиться» даже бешеным собакам. Его аудитория провозглашает его совестью России. А вот, когда он отказывается озлобить свою собственную семью, когда он не решается огорчить женщину, которая в продолжение целых десятков лет была его другом, которая ему самоотверженно помогала в его великом литературном труде, разделяя с ним святые восторги его несравненного художественного творчества, тогда его чувствительная аудитория начинает конфузиться за него и назойливо приставать к нему с вопросом: когда же ты перестанешь себе противоречить? О, мудрецы!

Тупик Толстого—это тупик всего его учения, ведущего к квиетизму.

В печать проникло известие об интересной беседе В. Г. Черток с некоторыми слушательницами Бестужевских курсов, ездившими в Ясную Поляну. По словам г. Черток, «Лев Николаевич не уходил из Ясной Поляны, из жизни, которая была ему тяжела, которую он считал лучшей, потому что видел в таком переходе эгоистический шаг». Это едва ли не единственные разумные слова, которые были произнесены с тех пор, как совершился «исход» Толстого из его родового гнезда. Именно так, именно эгоистический шаг... Господа, назойливо требовавшие такого шага от своего «учителя», этого не сообразили. Не только эгоистический,—такой шаг, повторяю, противоречил всему учению Толстого. Об этом тоже не догадались.

Правда, г. Черток прибавил, что Толстой смотрел на свое пребывание в Ясной Поляне, как на тяжелый крест. И мне, конечно, и в голову не приходит сомневаться в этом.

Я хорошо помню трогательные строки, написанные им в ответ людям, спрашивавшим его: «Ну, а вы, Лев Николаевич, проповедывать вы проповедуете, а как исполняете?». Строки эти дышат такой искренностью и написаны с такой благородной силой, что читатель, наверно, с величайшим удовольствием вспомнит их:

«Я отвечаю, что я виноват и гадок, и достоин презрения за то, что не исполняю, но при том не столько в оправдание, сколько в объяснение непоследовательности своей, говорю: посмотрите на мою жизнь прежнюю и теперешнюю, и вы увидите, что я пытаюсь исполнить: я не исполнил и одной десяти тысячной, это правда, и я виноват в этом, но я не исполнил не потому, что не хотел, а потому, что не умел. Научите меня, как выпутаться из сети соблазнов,

охвативших меня, и я исполню, но и без помощи я хочу и надеюсь исполнить. Обвиняйте меня, я сам это делаю, но обвиняйте меня, а не тот путь, по которому я иду и который указываю тем, кто спрашивает меня, где по моему мнению дорога» ¹⁾).

Это — настоящая трагедия, много перестрадал человек, из-под пера которого вышли эти строки. Но в чем заключается «пафос» этой трагедии (как выразился бы Белинский)? Толстой говорит о бессильной борьбе своей с охватившими его соблазнами и хочет, чтобы винули его самого, а не тот путь, по которому он шел. Но на самом деле соблазны, если они и были, совсем не играли тут решающей роли, и виноват был не сам Толстой, а именно тот путь, по которому он шел — вернее, пытался идти.

Путь этот вел в мертвую страну квиетизма. А Толстой был слишком живым человеком для того, чтобы хорошо чувствовать себя в этой стране. Он рвался из нее назад. И чем более стремился он вырваться из нее, тем более запутывался он в самых безвыходных и самых мучительных противоречиях. Он не может оставаться в бесплодной стране квиетизма. Но как только он выходит за ее пределы, его заставляет вернуться в нее непреодолимая логика его доктрины, основанной на противопоставлении «вечного» — «временному», «духа» — «телу».

Мы видели, что согласно этой доктрине, не следует развивать в себе физическую (животную) жалость к людям. Задача истинного христианина не в том, чтобы избавлять людей от физических страданий. Сегодня вы спасли своего друга от бешеной собаки, а «через много лет» он умер от об'ядения. Чего же вы достигли? Это не все. Ни один человек не может «раскаять» другого. Поэтому Толстой радовался, как мы знаем, что в нем угасал дух прозелитизма. Находясь в таком настроении, он писал:

«Человек, понявши жизнь, как учит понимать ее христос, как бы протягивает от себя вверх нить к богу, связывает себя с ним и, обрывая все боковые нити, связывавшие его с людьми (как и велит это христос), держится только на одной божеской нити и ею только руководится в жизни».

Толстой превращается в монаду, у которой, как известно, нет окон на улицу. Вся его нравственность принимает чисто отрицательный характер: «Не сердись, Не блуди. Не клянись. Не воюй. Вот в чем для меня сущность учения христа» ²⁾).

Оторванная от жизни толстовская нравственность на практике оказывается величайшей безнравственностью.

Но хотя у монады нет окон на улицу, улица не перестает бороться за свою жизнь, стремится к наслаждению и временами тяжело страдать. Страдания эти доходят до сведения монады, и она отзы-

¹⁾ «Спелые Колосья», стр. 228.

²⁾ Там же, стр. 216.

вается на них потому, что ее сердце лучше ее доктрины. Толстой покидает бесплодную страну квиетизма.

В 1892 г. Россию постигает «недород хлебных произведений». Крестьяне голодают. Толстой устремляется к ним на помощь. Покинута роскошная жизнь в Ясной Поляне; начинается деятельное служение ближнему. Вы думаете,—Толстой счастлив, освободившись от тяжести яснополянского «креста»? Очень ошибаетесь. Слушайте:

«Удивительное дело. Если бы у меня еще было сомнение о том, можно ли деньгами делать добро, то теперь, на деньги покупая хлеб и кормя несколько тысяч человек, я уже совершенно убедился в том, что, кроме зла, деньгами ничего сделать нельзя.

Вы скажете: «Зачем же вы продолжаете делать?».

«Затем, что не могу вырваться, и затем, что, кроме самого тяжелого состояния, ничего не испытываю и потому думаю, что делаю это не для удовлетворения личности.

«Тяжесть не в труде, труд, напротив, радостен и увлекает, и не в занятии, к которому не лежит сердце, а во внутреннем постоянном сознании стыда перед самим собой» ¹⁾.

Чего, собственно, стыдился в данном случае Толстой? Конечно, не того, что пришел на помощь своим ближним. Это было хорошо. Но плохо было, по его мнению, то, что он помогал им деньгами, которыми нельзя делать добро. Как же следует помогать ближним? Им следует помогать, открывая перед ними свет истинного учения. Толстой не страдал бы и не стыдил бы самого себя, если бы мог быть последовательным. А он был бы последовательным, он остался бы верен духу своего учения, если бы, придя в голодающую местность, изложил крестьянам, как следует жить по закону правды: «Не сердись. Не блуди. Не клянись. Не воюй». Не подумайте, что я здесь клевету на учение Толстого. Я только открываю перед вами его истинную природу. Толстой был вполне верен этому учению, когда писал:

Если хорошо представишь себе смерть и вырвешь в своей душе то, что уничтожает страх ее (есть только страх, — смерти самой нет), то, что вызовешь, с излишком достаточно для уничтожения всех плотских страхов и сумасшествия и одиночного заключения».

«Двадцать пять лет сумасшествия или одиночного заключения ведь, во всяком случае, только кажутся удлинением агонии, в сущности же удлинения нет, потому что перед той истинной жизнью, которая дана нам, час и тысячелетие все равно» ²⁾.

В этих строках легко узнать автора, придумавшего уже известные нам доводы в пользу непротивления злу: «объявление», от которого через «много лет» умрет мой друг, сегодня спасенный мною от бешеной собаки; эпидемия, которая завтра унесет моих детей. сегодня вырванных из рук «зулу». Если нет удлинения «агонии» для человека, которого посадили в тюрьму на 25 лет, то нет увеличения

¹⁾ Там же, стр. 190—191.

²⁾ Там же, стр. 181—182.

мучительности «агонии» и для человека, которому предстоит умереть голодной смертью. Ибо, если час и тысячелетие все равно, перед той истинной жизнью, которая дана нам, то кольми паче все равно, от чего умереть нам—от голода, или, например, от тифозного микроба. Вот почему Толстой и считал себя плохим «службой бога», когда помогал голодающим крестьянам.

Противопоставление «временного» «вечному» привело его к тому, что он должен был одинаково страдать как тогда, когда он следовал велениям «вечного», так и тогда, когда служил «временному». В первом случае он упирался в жестокость, с которой не мог помириться; во втором—не мог найти нравственную санкцию для тех услуг, которые он оказывал людям. В обоих случаях он непременно должен был считать себя непоследовательным и слабым в борьбе с соблазнами. И в обоих случаях он должен был тяжело мучиться сознанием своей слабости и непоследовательности. Вот в чем был «пафос» его жизненной трагедии!

Противопоставление «временного» «вечному» означало разрыв нравственности с жизнью; а разрыв нравственности с жизнью роковым образом вел за собой неудовлетворенность потому, что нравственность, оторванная от жизни, также безнравственна, как и жизнь, утратившая всякое нравственное содержание.

Когда Толстой критиковал эксплуатацию, он переставал быть толстовцем.

Лучшие страницы в сочинениях того периода деятельности Толстого, который можно назвать религиозным периодом, посвящены изображению и разоблачению многочисленных физических и нравственных зол, порождаемых собственностью, основанной на эксплуатации одного общественного класса другим. И, несомненно, что эти лучшие страницы привлекли к нему горячее сочувствие многих и многих читателей. Пролетариат чтит в Толстом, едва ли не главным образом, автора этих замечательных страниц. Но никогда не следует забывать, что когда Толстой писал эти страницы, он переставал быть толстовцем. Так что пролетариат, может быть, сам того не зная, уважает в Толстом не того человека, который учил жизни, а того, который отказался от своего учения о жизни. И бесспорно, Толстой заслуживал одобрения и уважения за это. Но всегда следует помнить, что едва заходила речь о том, как же устранить те многочисленные физические и нравственные страдания, которые он так хорошо описывал,—и причину которых ему так ясно указали социалисты,—он опять покидал точку зрения «временного» и возвращался в бесплодную пустыню квиетизма. Тогда он опять выдвигал свое настоящее, т.-е. им самим придуманное, а не заимствованное у социалистов учение о собственности, как о чем-то воображаемом, как о фикции, существующей лишь в воображении людей, подчинившихся Мамону. Тогда он опять начинал на разные лады твердить о непротивлении злу и повторять: «Не сердись. Не блуди. Не клянись. Не вой».

И вот почему он, так много заимствовавший у социалистов, справедливо считал себя как нельзя более далеким от них. Он постоянно ставил их на одну доску с попами, которых так не любил в последние десятилетия своей жизни.

Толстовство и социализм непримиримы.

В книге «Спелые Колосья» есть небольшая, но чрезвычайно поучительная глава: «Смешение представлений». В ней говорится: «Мы часто обманываемся тем, что, встречаясь с революционерами, думаем, что мы стоим близко — рядом». «Нет государства!». «Нет государства!». «Нет собственности!». «Нет собственности!». «Нет неравенства!». «Нет неравенства» и многое другое. Кажется, все одно и то же. **Но разница есть большая и даже нет более далеких от нас людей.** Для христианина нет государства, для них нужно уничтожить государство. Для христианина нет собственности, а они сокрушить хотят собственность. Для христианина все равны, а они хотят уничтожить неравенство. Это как два конца несомкнутого кольца. Концы рядом, но более отдалены друг от друга, чем все остальные части кольца. Надо обойти все кольцо для того, чтобы соединить то, что на концах»¹⁾.

Здесь ошибочное перемешано с верным. Но ошибочное здесь несущественно, а верное, крайне важно.

Так, например, Толстой утверждает, что революционеры стремятся «уничтожить государство». Это верно только в применении к анархистам. Но анархисты составляют ничтожнейшее меньшинство в рядах революционеров нашего времени, если только вообще можно назвать их революционерами, чего я не думаю. Выходит, что утверждение Толстого неправильно. Неправильно и то его утверждение, что революционеры хотят «сокрушить собственность». Скажу больше, что привык мыслить ясно и отчетливо, тот даже и не поймет, что значит глагол «сокрушить» в применении к такому **общественному учреждению, как собственность.** И несомненно, что революционеры наших дней в огромнейшем большинстве своем, — т.-е. опять за исключением анархистов, являющихся крайне сомнительными революционерами, — хотят не «сокрушить» собственность, а придать ей новый характер: заменить **частную** собственность на средства производства — **общественною.** «Сокрушение» же собственности, — если понимать под ним насильственное уничтожение или порчу ее предметов, всегда строго осуждалось и осуждается ими, как действие вредное и свидетельствующее о бессознательности людей, его совершающих.

Но это не важно. А в важном Толстой был совершенно прав. **Не было и нет людей более далеких от него, нежели современные социалисты...** Вернее, — те из них, которые вполне усвоили себе смысл своих собственных теоретических взглядов и своих собственных

¹⁾ «Спелые Колосья», стр. 69—70.

практических стремлений. Нельзя лучше выразиться: «Это как два конца несомкнутого кольца... Надо обойти все кольцо, чтобы соединить то, что на концах». Кто не понимает этого, тот повинен в смешении представлений.

(Впервые напечатано было в «Мысли», №№ 1 и 2 за 1910 г.

РОЗА ЛЮКСЕМБУРГ.

Лев Толстой.

Великая проблема, которая занимала Толстого в течение всей его жизни,—была социальная несправедливость, а также средства к ее устранению.

Это были ужасы буржуазного общества, которые на каждом шагу приводили его в негодование и принуждали к глубокому раздумью.

Трудовая жизнь бедных, праздность и пустое пошлое прозябание богатых, вопиющие мерзости войн и милитаризма, лживость буржуазного брака, лицемерие официальной церкви, гнет налоговой системы и бюрократии, воспитание, искусство, наука, извращение, на которые их осуждает современное общество,—все это непрестанно волновало неутомимого исследователя, все он подвергал своему едкому анализу и критике.

Он объявил буржуазному обществу войну и остался его смертельным врагом до последнего вздоха.

В своих первых больших романах он заставляет своих героев в середине действия произносить длинные рассуждения о социальных проблемах; о средствах искоренить бедность и неравенство.

В 70-х годах он приходит к убеждению, что все современное искусство—включая и его собственные дивные творения—суетная, паразитическая роскошь, ибо они недоступны для огромных масс трудящегося народа, ибо они являются для него чужим продуктом обеспеченного меньшинства. После такого приговора этот признанный всей Россией и всем миром художник принимает решение—самому воздержаться от всякого дальнейшего художественного творчества и посвятить себя целиком исследованию социальных проблем, из которого, на ряду с многочисленными пропагандистскими статьями, родилось и его последнее крупное сочинение—«Воскресение».

Критика, которой Толстой подвергает существующее,—радикальна; она не знает никаких границ, никаких оглядок назад, никаких компромиссов.

И Толстой не знает также никаких средних путей и никаких паллиативов к смягчению социального зла.

Окончательное уничтожение частной собственности и государства, всеобщая трудовая повинность, полнейшее экономическое и социальное равенство, совершенная отмена милитаризма, братство

народов, всеобщий мир и равенство всего того, что носит человеческий образ,—вот идеал, который Толстой неумоимо проповедывал с упорством великого глубоко убежденного пророка.

Социальная критика и социальные идеалы Толстого ставят его, таким образом, в ряды социализма, в ряды славного авангарда великих умов, которые освещают современному пролетариату его исторический освободительный путь. И, однако, никто не был так далек от понимания современного рабочего движения, от его идейного содержания, как Толстой.

Толстой ненавидит революцию и классовую борьбу.

Лишь только он подходит к разрешению вопроса, как можно осуществить социальный идеал, Толстой отворачивается от исторического пути пролетариата, ненавидит революцию и классовую борьбу и проповедует внутреннее совершенствование человека через христианство.

«Предложенный революционерами выход победить власть—явно невозможен. Правительства, которые уже располагают дисциплинированной силой,—никогда не потерпят образования другой дисциплинированной силы. Все попытки прошлого столетия (Толстой пишет это в октябре 1900 г.) показывают, что они напрасны. Выход не лежит и в том, как думают некоторые социалисты,—что может быть создана могущественная хозяйственная организация, которая смогла бы победить объединенную силу капиталистов.

Никогда рабочие союзы, которые располагают несколькими миллионами, не смогут бороться против экономической власти миллиардеров, поддерживаемых военной силой.

Также мало возможен выход, который другие социалисты усматривают в завоевании большинства в парламентах. Такое парламентское большинство ничего не достигнет, пока войско будет в руках правительства. Но внесение социалистических принципов в войско также ничему не поможет.

Гипнотизирование войска продельвается так ловко, что даже вольнодумец и разумнейший человек—поскольку он находится в армии—всегда будет исполнять то, что от него потребуются. В чем же тогда выход?

Отказ от военной службы, «пока еще не подпали под оупляющее влияние дисциплины»—и «личное самосовершенствование, т. е. замена собственных эгоистических стремлений любовной службой другим людям, как об этом говорится в евангелии, и в чем состоит смысл закона и пророков: поступай по отношению к другим так, как ты хочешь, чтобы поступали по отношению к тебе».

Церковное проклятие, которое встретило единственного истинного христианина ¹⁾ в России после появления «Воскресения», и

¹⁾ Надо полагать, что эти слова Розы Люксембург разумеют не положительную оценку «истинного» христианства, а констатирование последовательности Льва Толстого. Как показывает хотя бы настоящая статья, реак-

Пропаганда Толстого толкнула на время несколько десятков студентов к чудаковатым выходкам, но его могучая критика, одетая в гениальные художественные произведения, будила в сотнях тысяч сердец и голов мысль, искру сознательной жизни и любовь к массе немущих.

(Эта статья впервые была напечатана в журнале «Die Gleichheit» в № от 3/XII 1920 г.).

В. М. ФРИЧЕ.

Л. Н. Толстой.

Л. Н. Толстой был представителем и продуктом определенного класса—дворянства, или вернее—определенной группы этого класса, родовитой «феодальной» знати, выросшей на корню натурального хозяйства и крепостного права. Его мышление и творчество, его этические и социальные идеалы были, прежде всего, предопределены его принадлежностью к этой именно группе—к родовитой аристократии помещичьего типа. Как весь класс, так, в особенности, эта социальная группа, переживала во второй половине XIX в. кризис, катастрофу, отмирало натуральное хозяйство. Развивался капитализм. Родовитая знать теряла прежний культурный и социальный вес и эволюционировала в сторону бюрократии и буржуазии. Распадалась аристократическая психика и на ней построенная аристократическая культура. Такой же, как родовитая знать, кризис переживало под влиянием развивавшегося капитализма крестьянство. Новые классы выступали на сцену и завоевывали жизнь—буржуазия, пролетариат. Отживала старая, натурально-феодальная,—«патриархальная», «азиатская», по выражению Ленина,—Россия, нарождалась новая—городская, буржуазная, рабочая—европейская.

Кризис натурального хозяйства и феодального класса—во второй и главный фактор, предопределивший содержание учения и творчества Л. Н. Толстого.

Морально-социальная философия Толстого—детище барского поместья.

Выступая, как «учитель жизни» Толстой не мог, естественно, отрешиться от тех форм мышления, которые свойственны помещику-феодалу, а эти формы мышления представляли прямую противоположность тем, которые были свойственны новым классам, выступившим на историческую сцену. **Его мышление, как мышление всякого феодала, было религиозно-авторитарным.** Основной принцип авторитарно-религиозного мышления Толстой сам выразил в следующих словах:

«Жизнь мира совершается по чьей-то воле, кто-то жизнью всего мира и нашими жизнями делает какое-то дело. Чтобы иметь надежду понять смысл этой воли, надо прежде всего исполнять ее».

торжественное запрещение панихид по умершему достаточно показывают, как мало общего имеет христианство Толстого с официальной церковью, которая в России еще отчетливей, чем где бы то ни было, является духовным отделением жандармерии. Но все же в «христианской проповеди» Толстого ясно выступает реакционная черта; эта реакционная черта теснейшим образом связана с основным слабым пунктом во всем социальном анализе Толстого. Он разобрал по косточкам и проклял современное общество с точки зрения морали, справедливости, любви к народу, без того, чтобы понимать исторические отношения этого общества, из которых вытекают с неизбежностью и общественные средства к осуществлению социализма путем классовой борьбы.

Толстой—чистейший идеалист и утопист.

Толстой в исходных пунктах своей гениальной критики, как и в конечных выводах—чистейший идеалист, и в этом он подобен и имеет одно происхождение с великими социалистами-утопистами начала 19 ст., Фурье, С.-Симоном и Оуэном. Правда, эта великая тройка стояла лишь у колыбели капиталистического развития, Толстой же умер во время жестоких проявлений его испорченности и приближающегося конца. Но сами обстоятельства его жизни достаточно объясняют направление его мысли, которое явилось для его жизни решающим.

Рожденный и выросший в крепостной России Николая 1, он в зрелом возрасте был сперва свидетелем банкротства слабого либерального движения 60-х годов, потом революционного движения социалистической интеллигенции в 70-х и 80-х годах, чтобы лишь в старости пережить начало пролетарско-классовой борьбы и незадолго перед смертью—революции.

Что удивительного, если историческое влияние быстрого капиталистического развития России, с ее сказочно быстро складывающимся пролетариатом, осталось для него непонятным феноменом,—и суеверный терпеливый мужик остался—представителем русского народа.

Толстой никогда не понимал с.-д. и думал, что нашел своих единственных истинных апостолов в убогой крестьянской секте духоборов, которые при своем принудительном переселении в Америку трагическим образом обнаружили беспочвенность толстовского учения. Если и этическая пропаганда Толстого и его резкое осуждение классовой борьбы и революции в царской России имели свою реакционную сторону, то как раз то самое историческое развитие, которого Толстой не признавал, позаботилось о том, чтобы с его учения была снята скорлупа христианского индивидуализма, в то время, как блестящее золото его великих социальных мыслей вошло в сокровищницу современной духовной жизни.

ционность христианства («истинного» или неистинного)—была достаточно ясна Розе Люксембург, этому героическому борцу революционного пролетариата. (От редакции).

Этот «кто-то» есть «бог»—есть «хозяин»—как часто выражался Толстой—есть собственно помещик, возведенный из хозяина поместья в хозяина мира. В тесной связи с авторитарно-религиозным мышлением находится и идеализм или лучше дуализм Толстого в вопросе о духе и теле. Мир и человек распадаются для него на «душу» и на «материю», как отражение в области мышления противоположности организатора-хозяина и подвластных мужиков. И только в барском феодальном поместье могла зародиться характерная для Толстого переоценка духа за счет материи, души за счет тела, ибо здесь наличие материальных благ позволяло всецело сосредоточиться на заботах о благе духовном.

Этот свойственный феодалу-помещику религиозно-авторитарный и идеалистически-дуалистический способ мышления Толстой—в 70-х, 80-х, 90-х годах—выдвигал с особенной настойчивостью, как некую классовую эмблему, как средство классового отличия, когда выступила буржуазия и демократия, а впоследствии и пролетариат, шедшие к завоеванию жизни и власти под знаменем научного анализа и материалистической философии.

И подобно тому как мышление Толстого было пропитано традициями натурального хозяйства и феодального уклада, так и его отношение к проблеме зла, существующего в обществе, его социальная философия и социальная практика были не чем иным, как перенесением на совершенно иную и противоположную действительность отношений и мыслей, и чувств, вскормленных барской усадьбой. Его неустанная проповедь о том, что благо людей зависит от их внутреннего перерождения, а не от изменений внешних условий, вытекала не только из его переоценки духовного за счет материального, из его религиозного идеализма, но и из бытовых условий патриархального поместья. В крепостной усадьбе благо крестьян до известной степени, несомненно, зависело от нравственного состояния барина—если он был жесток, крестьянам приходилось страдать больше, чем если он был мягок и добр. В условиях существования натурально-крепостного быта можно было обращаться к помещикам с проповедью—будьте добры, справедливы и т. д. и улучшится «общее состояние людей» (ваших «людей»).

Эту рожденную в барском поместье морально-социальную философию Толстой и переносил на совершенно иную общественную действительность, бесконечно расширившуюся и бесконечно осложнившуюся, рисовавшуюся ему все в том же виде патриархальной усадьбы былых времен. В 1905 г., когда шла борьба за установление нового социально-политического строя, за изменение внешних условий, Толстой обращался к царскому правительству, к министрам со словами:

«Спасение ваше не в Думе с такими или иными выборами, а в том, чтобы поставить перед народом идеал справедливости, добра и истины»—

а к революционерам, под которыми он мыслил всех «от либеральных конституционалистов и до самых воинственных революционеров», с увещанием:

«Обстоятельства требуют от вас не речей на собраниях, не хождения по улицам с революверами, часто нечестного возмущения крестьян, а строгого отношения к себе, к своей жизни, улучшение которой одно может улучшить общее состояние людей». (Правительству, революционерам, народу).

В ее логически-последовательном развитии эта этически-индивидуалистическая точка зрения помещика-феодала приводила порой к выводам, звучавшим столь же дико, сколь и наивно.

В своем воззвании «К рабочему народу» Толстой вещает:

«Нет ничего вреднее для людей той мысли, что причины бедственности их положения не в них самих, а во внешних условиях. Стоит только человеку или обществу людей вообразить, что испытываемое ими зло происходит от внешних условий и направить свое внимание и силы на изменение этих внешних условий, и зло будет только увеличиваться. Но стоит только человеку или обществу людей искренно обратиться на себя и в себя и в своей жизни поискать причин того зла, от которого он или оно страдает, и причины эти тотчас найдутся и сами собою уничтожатся».

Итак, рабочим рекомендовалось искать причины своего бедственного положения не в капитализме, а в своей собственной жизни.

Буддийские черты в толстовстве—мироощущение гибнущего феодального класса.

Философское и социально-этическое мышление Толстого не только было обусловлено психоидеологией феодальной аристократии, вскормленной натуральным хозяйством—класс этот переживал смертельный кризис—приходил в упадок, перерождался, сметался жизнью и как отражение и выражение этого кризиса должно было сложиться особое «учение».

В далеком прошлом уже имелся прецедент и прообраз. Буддизм в Индии возник в тех же социальных условиях, как и толстовство—в период разложения натурального хозяйства, развала феодального класса на фоне растущего (торгового) капитализма.

Каковы основные черты буддизма?

Это прежде всего преодоление мира, как нереальности, отождествление реального чувственного мира с обманчивой и лживой игрой—с покровом Майи. Чувственное бытие не только призрачно, оно и греховно. Мудрец, постигший лживость Майи, спешит потушить в себе волю к жизни и прежде всего плотскую любовь. Он становится аскетом. Задачей жизни для него является нравственное самосовершенствование на основе сострадания к страждущим (и в первую очередь к закабаленным земледельцам). Но мудрец не борется против зла—он не только аскет, но и непротивленец. Он обязан присутствовать при самых чудовищных истязаниях, при самых диких насилиях молчаливым и пассивным свидетелем. В его распоряжении одно всеисцеляющее средство—всеобъемлющая любовь—*metta*—чувство, в котором сочетается умиление и жалость, самодовольство

своей святостью и снисходительное пренебрежение к миру сверху вниз.

Толстой повторил в своем учении все эти черты буддизма (хотя с некоторыми другими положениями—с учением о метампсихозе, о переселении душ он решительно не соглашался).

То же в толстовстве отрицание реальности мира—рядом с утверждением, что все «материальное не реально», об'явление науки «наивной», за то, что она считает «вешний мир» настоящей реальностью, тогда как «реальны только мои всегда повторяющиеся впечатления, подтверждаемые впечатлениями других», или полемика против ученых—материалистов, не ведающих о том, что «сделали в области теории познания идеалисты, а еще раньше индусы». То же у него не только преодоление мира как реальности, но и погашение в себе страстей и прежде всего половой любви, призыв к юношам и девушкам—в послесловии к «Крейцеровой сонате»—стремиться к целомудрию мыслей и желаний; а к супругам—заменить плотскую любовь «чистыми отношениями сестры и брата». Тот же принцип нравственного усовершенствования вплоть до слияния с божеством, приблизиться к которому можно только «по одиночке», та же проповедь непротивления злу насилием, вплоть до призыва в 1905 г. к восставшему «рабочему народу», к пролетариям и крестьянам:

«Смиренно и кротко переносите насилия, но не участвуйте в них».

И, наконец, та же, как в буддизме, панацея от всех зол—в виде ни к чему не обязывающей любви, смешанной из жалости и умиления—ко всем людям без исключения—даже к врагам, то особое чувство, которое впервые испытал перед смертью князь Волконский. —

«...Любовь—не та любовь, которая любит за что-нибудь, для чего-нибудь или почему-нибудь. Любить ближних, любить врагов своих—все любить—любить бога во всех его проявлениях».

«Он испытывал теперь к ней (Масловой) чувство, никогда не испытанное им прежде. Это было простое чувство жалости и умиления. О чем бы он ни думал теперь, что бы он ни делал, общее настроение его было это чувство жалости и умиления не только к ней, но и ко всем людям».

Эти буддийские черты—ирреальность мира, аскетизм, нравственное усовершенствование, непротивленство, любовь *metta*—в учении Толстого придают ему отпечаток восточный, азиатский, на что указал еще Ленин:

«Вот именно идеологией восточного строя, азиатского строя и является толстовщина в ее реальном историческом содержании».

Эти буддийские черты в учении Толстого выражают собой, однако, не столько «азиатский строй»—натуральное хозяйство в момент его гибели, но прежде всего мироощущение гибнущего вместе с разложением натурального хозяйства под напором капитализма старого феодального класса.

Это только один лик толстовства—его дворянский лик—лик отчаяния и умирания.

В нем есть еще и другая сторона.

«В христианском коммунизме» Толстого больше всего сказался опрощающийся упадочный барин.

Когда класс переживает социальную катастрофу, когда он выбрасывается из жизни, как ненужность, то отдельные его передовые члены обычно покидают его ряды и пытаются прислониться к какому-нибудь другому классу.

Феодал-помещик Толстой, минуя новые классы и группы, выступившие на сцену во второй половине XIX в.—буржуазию, интеллигенцию, пролетариат,—шел навстречу крестьянину. Из развала феодально-помещичьего барства выходил не только буддист, но и опрощенец.

Он шел к мужику уже давно, воплощая свою тягу к опрощению в своих субъективно-автобиографических образах, в Оленине («Казак»), приехавшем в кавказские горы изжить свою барскую психологию лицом к лицу с первобытным Ерошкой, отнюдь не походившим, впрочем, на мужика; в Пьере Безухове («Война и мир»), преклонявшемся перед Платоном Каратаевым, как мнимом воплощении народного начала, наконец, в Левине, которого толкает на путь религиозного обновления разговор с крестьянином о «праведной жизни для души».

Крестьянство, которому навстречу шел Толстой, переживало такой же кризис, как и феодальная аристократия. Оно также было захвачено железными лапами развивавшегося капитализма и беспокойно и приниженно металось в его тисках.

Цитирую Ленина:

«Патриархальная деревня, вчера только освободившаяся от крепостного права, отдана была буквально на поток и разграбление капиталу и фиску. Старые устои крестьянского хозяйства и крестьянской жизни, устои действительно державшиеся в течение веков, пошли на слом с необыкновенной быстротой».

И Толстой выступил критиком капитализма прежде всего, как разорителя и угнетателя деревни. Его критика капитализма наивная и поверхностная, ничего общего не имеющая с критикой Маркса столь же утопичная и реакционная, как некогда в XVIII в. критика Руссо, а в XIX в. критика Рескина—тех двух писателей, которые были так родственны и понятны Толстому—критика капитализма не во имя социализма, не во имя будущего, а во имя прошлого, во имя восстановления отошедшего в прошлое и навсегда натурального хозяйства.

Нормальное социальное состояние представлялось Толстому, правда, в виде общественной формации без господствующих классов, не только без буржуазии—хотя «единый налог на землю» в духе Генри Джорджа, которому Толстой придавал такое огромное

всеисцеляющее значение, ни в какой мере не упразднял капитализм, чего он по своей усадебной близорукости никак не мог понять, но и без помещиков, т.-е. без его собственного класса,—по существу это был реакционный идеал, возвращавший хозяйство к изжитому натуральному, или как выразился Ленин, азиатскому строю.

Развивавшемуся бурно в городе и в деревне капитализму Толстой противопоставлял свой «христианский», чисто крестьянский анархо-коммунизм.

И как в аскетико-пессимистических чертах своего учения он повторил буддизм, так в этой части своего учения он также повторил иностранный образец.

А. В. Луначарский назвал Толстого нашим Цвингли и нашим Гусом. Параллель едва ли удачная. Цвингли был идеологом швейцарской буржуазии XVI в., а Гус и его последователи не были непротивленцами. Другой западный мыслитель был предвестником «христианского коммунизма» Толстого, и Толстой его хорошо знал и высоко ценил,—это был чех Петр Хельчицкий, живший на рубеже XV в., обедневший дворянин, стоявший, как и Толстой, лицом к лицу с поднимавшимся капитализмом. О Хельчицком Толстой написал статью для своего «Круга чтения», равно как предисловие к русскому переводу его книги «Сети веры», изданному Посредником. О его высоком мнении о чешском мыслителе свидетельствует и следующий разговор Толстого, зафиксированный Гольденвейзером («Вблизи Толстого», т. I).

«Л. Н. выражал удивление, что историки говорят о Гусе, Лютере, а о таком, как Хельчицкий, даже не упоминают. А между тем это удивительный религиозный мыслитель».

Разумеется, историки-марксисты прекрасно знали и знают этого чешского проповедника XV в., который учил—цитирую книгу Каутского «Предшественники социализма»—

«... что истинно верующий не должен участвовать в управлении государством, как учреждении языческом—единственный метод уничтожения государства это его игнорировать. Истинно-верующий не должен эксплуатировать ближнего, не должен заниматься торговлей, города и его торговые места—суть зло».

От Петра Хельчицкого и его ученика брата Грегори пошли богемские братья.

«Каждому члену братской общины строго запрещено было нести военную службу, участвовать в управлении государством; хотя частная собственность и семья не были запрещены, однако, рекомендовалось воздерживаться от того и другого. Ученые, наука не признавались. Жить, трудиться и молча терпеть—вот все, что надлежит делать на земле истинному христианину».

«Христианский коммунизм» Толстого с его безгосударственностью, непротивленством, отрицанием воинской повинности, отрицанием городской культуры и науки вольно или невольно повторяет учение богемских сектантов, отдаленных предшественников наших духоборов, с которыми так долго и тесно был связан Толстой. Толстой до конца своей жизни был упрямо убежден, что в нашем

крестьянстве в целом держится христианская идея (равенство, непротавление, общинность). В своих официальных выступлениях он на всевозможные лады повторял эту свою излюбленную мысль,—а факты на каждом шагу его опровергали, и в своих домашних беседах он вынужден бывал признаваться, что дело с крестьянином обстоит не так благополучно. Вот ряд таких данных, заимствованных из воспоминаний Гольденвейзера.

1) Толстой видел, как угасает в крестьянстве какое бы ни было христианство.

«В народе все более разрушается религиозный обман православного суеверия, а на его месте не остается ничего. И это ужасно!» (Т. I, стр. 190).

2) Он должен был видеть далее, что теория непротавления злу насилием вовсе непопулярна среди крестьянства.

«У Черткова бывают собрания с крестьянами. Один парень сказал Льву Николаевичу, что если не насиловать, то тебе на шею сядут!» (Т. I, стр. 193).

И, наконец, Толстой видел воочию, как крестьянство все более революционизируется (1905). Со слов одного знакомого старого крестьянина он передавал в беседе с домашними—

«Революционное настроение живет в народе. Старики—те еще больше черносотенники, а молодежь—все революционеры. Если что случится и мы не удержимся: они все в лоск положат». (Т. I, стр. 346).

И обманули его даже его любимцы-духоборы. Как только, изгнанные царским правительством, они попали в Канаду, в «свободную страну», определенно и властно в них заговорили инстинкты собственников и ему—учителю—пришлось их усовещевать и наставлять.

Это письмо мало известно—оно было опубликовано в 1920 г. в наших «Известиях» (№ 264) толстовцем Трегубовым.

Вот отрывок:

«Соблазн собственности есть самый тяжелый соблазн, вред которого очень хитро скрыт от людей, поэтому так много христиан натыкались на этот камень. И потому, дорогие братья и сестры, я вижу ясно, что вам со всех сторон выгоднее продолжать жить христианской жизнью».

И затем перечисляются все выгоды общинного уклада перед собственническим.

Таким образом в «христианском коммунизме», вернее,—в анархокоммунизме Толстого было гораздо больше от настроений опрощающегося упадочного барина, нежели от настроений самого крестьянства, и если в этом учении и было кое-что от крестьянства, то не от крестьянства вообще, а от крестьянства, попавшего в цепкие лапы капитализма, перед которым крестьянин стоял растерянный, непонимающий, подавленный, отчаявшийся.

И опять-таки не кто иной, как Ленин, на это указал:

«Критика Толстого отражает перелом во взглядах миллионов крестьян, которые только что вышли на свободу из крепостного

права и увидели, что эта свобода означает новые ужасы разоренья, голодной смерти, бездомной жизни среди городских хитровцев. Толстой отражает их настроение так верно, что сам в свое учение вносит их наивность, их отчужденность от политики, их мистицизм, желание уйти от мира, непротивление злу, бессознательные проклятия по адресу капитализма и власти денег.

Протест крестьян и их отчаяние—вот что слышится в учении Толстого».

К этим классическим словам можно только прибавить, что все эти черты крестьянства, мятущегося в тисках первоначального капитализма—наивность, отчужденность от политики, уход от мира, непротивление злу—все эти черты были в такой же мере свойственны деклассировавшемуся помещику-феодалу, Толстому, пытавшемуся пережить свой класс, которому предстояла социальная трансформация и социальная смерть.

Произошла естественная смычка упадочного дворянина и отчаявшегося крестьянина. В итоге получилось то, что известно под именем учения Толстого.

«Идеолог старой России»,—назвал его Ленин,—старой, патриархальной, умиравшей и умершей России».

(Из сборника «О Толстом». Под ред. В. М. Фриче. ГИЗ. 28 г.).

Г. В. ПЛЕХАНОВ.

О религии Л. Толстого.

Толстой считает свою религию свободной от сверхъестественного элемента.

Сам Л. Н. Толстой считает свою религию свободной от всякого «сверхъестественного» элемента. Сверхъестественное есть для него синоним бессмысленного и неразумного. Он смеется над людьми, привыкшими считать «сверхъестественное, т.-е. бессмысленное», главным признаком религии. «Утверждать, что сверхъестественность и неразумность составляют основные свойства религии,—говорит он,—все равно, что наблюдая только гнилые яблоки, утверждать, что дряблая горечь и вредное влияние на желудок есть основное свойство плода яблока»¹⁾. Что же такое религия, по мнению Л. Н. Толстого.

Ответ: религия есть определение отношения человека к началу всего и вытекающего из этого положения назначения человека и из этого назначения правил поведения²⁾.

В другом месте того же сочинения Л. Н. Толстой дает следующее определение религии: «Истинная религия есть такое, согласное

¹⁾ Л. Н. Толстой. «Что такое религия и в чем ее сущность»? Изд. «Свободного Слова», 1902 г., стр. 48.

²⁾ Цит. соч. стр. 48—49.

с разумом и знанием человека, установленное им отношение к окружающей его бесконечной жизни, которое связывает его жизнь с этой бесконечностью и руководит его поступками ¹⁾.

На первый взгляд эти, в сущности, совершенно тождественные между собой определения религии кажутся очень странными. Они неизбежно вызывают вопрос: да почему же это называется религией? Определить свое отношение к «началу всего» или (согласно второму определению) к «бесконечной жизни», окружающей человека, еще не значит положить основу религиозного мирозерцания. И точно так же руководиться в своем поведении своим взглядом на—начало всего» (на «бесконечную жизнь»), еще не значит быть религиозным. Вот, например, Дидро очень старательно определял «свое отношение к началу всего» и строил на его определении свою этику; но он в тот период своей жизни, когда его взгляд на «начало всего» сделался взглядом убежденного материалиста,—совсем не был религиозен. В чем же тут дело? Мне кажется, что все дело тут в одном слове: «**назначение**».

Л. Н. Толстой думает, что, определив свое отношение к «началу всего», человек тем самым определит свое «назначение». Но «назначение» предполагает, во-первых, тот предмет или то существо, которому оно дается,—в интересующем нас случае, человека,—а, во-вторых, то существо или ту силу, которое (или которая) **дает** человеку его «назначение». И это существо или эта сила, очевидно, обладает сознательностью: иначе оно не могло бы давать человеку его «назначение», ставит перед ним определенную задачу. Как же мы должны представлять себе это сознательное существо. На этот вопрос мы тоже находим ясный ответ у Толстого. Ему не нравится нынешнее преподавание религии. По его мнению, не следует внушать детям и подтверждать взрослым «веру в то, что бог послал сына своего, чтобы искупить грехи Адама, и установил свою церковь, которой надо повиноваться» ²⁾. Он убежден, что несравненно лучше было бы, если бы детям «внушалось и подтверждалось то, что бог есть дух, проявление которого живет в нас и силу которого мы можем увеличить своей жизнью».

Но внушать детям, что бог есть дух, проявление которого живет в нас, значит сообщать им известные **анимистические** представления.

Религия Толстого на деле чистейший анимизм.

Таким образом, оказывается, что сознательное существо, давшее человеку его назначение, есть дух. Если дух есть, как мы знаем, такое существо, волей которого причиняются явления природы, то он стоит **над природой**, т.-е. должен быть признан **сверхъестествен-**

¹⁾ Там же, стр. 11. Подчеркнуто у Толстого.

²⁾ Цит. соч., стр.. 50.

ным существом ¹⁾. А это значит, что ошибается Л. Н. Толстой, считая свою религию свободной от веры в «сверхъестественное».

Что же ввело его в ошибку? В его представлении «сверхъестественное» отождествилось с «бесмысленным» и неразумным. А так как его собственная вера в бытие бога, который «есть дух», не только не казалась ему бессмысленной и неразумной, но напротив, считалась им за проявление самого здравого смысла и самого высшего разума, то он и решил, что в его религии нет места для «сверхъестественного». Он позабыл или не знал, что верить в «сверхъестественное» именно и значит признавать существование духов или духа (что совершенно все равно). В различные исторические эпохи вера в духов (анимизм) принимает до такой степени различный вид, что люди одной из них считают бессмыслицей ту веру в «сверхъестественное», которая считалась проявлением высшего разума в продолжение другой или даже нескольких других. Но эти недоразумения между людьми, стоявшими на точке зрения анимизма, нимало не устраняли основного характера верования, общего им всем; верование это было верой в существование одно или нескольких «сверхъестественных» сил. И только потому, что всем им свойственна была такая вера, все они имели религию. Религии, чуждой анимистических представлений, до сих пор не было да и быть не может: свойственные религии представления всегда имеют более или менее анимистический характер. Пример религии Л. Н. Толстого может служить новым доказательством этой истины Л. Н. Толстой—анимист ²⁾, и его нравственные стремления окрашиваются в религиозный цвет лишь в той мере, в какой они сочетаются с верой в бога, который есть «дух» и который определил назначение человека.

(Из сборника «От обороны к нападению»).

¹⁾ Автор разумеет другую свою статью. «О так называемых религиозных исканиях в России», которая в сборнике Плеханова «От обороны к нападению» и в изданиях соч. Плеханова после 1917 г. носит название «О религии». (Р е д.).

²⁾ Анимизм лучше всего переводится словами «душеверие» или «духоверие» (слово это происходит от латинского «*animus*»—дух или «*anima*»—душа). Анимизм это мировоззрение, характеризующееся верой в то, что в каждом предмете видимого мира пребывает его невидимый бестелесный двойник—душа. «Животное в животном, животное или человек в человеке», вот что такое душа для первобытного человека по словам авторитетнейшего исследователя первобытных верований Д. Фрэзера. В процессе развития культуры «душа» все больше одухотворяется и наделяется способностью пребывать вне определенных предметов, превращается в «духа». Весь мир для анимиста полон духов, добрых или злых. Самый могущественный дух является богом. Какой бы утонченный, отвлеченный характер ни приобретала религия, она неизбежно пропитана дикарским анимизмом. Анализ одной из самых утонченных религий, толстовства, подтверждает это. (Р е д.).

Д. Ю. КВИТКО.

Отношение Л. Толстого к науке и просвещению.

Наука для Толстого—злой дух культуры.

Практически «материальный прогресс» ведет к «улучшению путей сообщения и машинного шитья», а эти изобретения, согласно Толстому, не улучшают положение простого народа. Как же смотрел он на другие изобретения, скажем, телеграф, телефон и т. д.?— И эти изобретения, как и всякие другие, он считал вредными, ибо они помогают богатым укрепить свое положение и при их помощи они еще успешнее грабят народ. С увеличением изобретений растет имущество капиталистов, а богатство требует охранения его постоянной армией. Это отрывает трудовой элемент от земли, еще больше обременяет крестьян.

Научился ли крестьянин, спрашивает он, чему-нибудь чего он прежде не знал, до развития науки? Открыли ли для него ученые какие-нибудь новые, неведомые до того растения? Прибавили ли они какие-нибудь новые съедобные злаки? Научили ли они хозяйку печь хлеб? Приручили ли они новых животных, которые оказались бы помощью в хозяйстве? А изобретение книгопечатания, могут возразить, разве не является одним из величайших благ для человечества?— На это он дает следующий ответ: «Для меня очевидно, что распространение журналов и книг, безостановочный и громадный прогресс книгопечатания, был выгоден для писателей, редакторов, издателей, корректоров и наборщиков. Огромные суммы народа косвенными путями перешли в руки этих людей. Книгопечатание так выгодно для этих людей, что для увеличения числа читателей придумываются всевозможные средства: стихи, повести, скандалы, обличения, сплетни, полемика, подарки, премии, общества грамотности, распространение книг и школы для увеличения числа грамотных. Ни один труд не окупается так легко, как литературный. Никакие проценты, так не велики, как литературные. Число литературных работников увеличивается с каждым днем. Мелочность и ничтожество литературы увеличиваются соразмерно увеличению ее органов. Но ежели число книг и журналов увеличивается, ежели литература так хорошо окупается, то стало быть, она необходима, скажут мне наивные люди. Стало быть, откупа необходимы, что они хорошо окупались?—отвечу я».

Но это не единственный вред, который приносит книгопечатание. В тот момент, когда крестьянин научается пользоваться печатным словом, как только он начинает интересоваться поэзией, он перестает быть тем, чем он есть. Не из книг крестьяне учились своей работе. Следовательно, как другие изобретения, так и книгопечатание вредны для народа, так как они помогают богатым эксплуатировать народ.

Толстой видел только одну сторону этой медали, а на другую он смотреть не хотел. Правда, и изобретения и печатное слово используются богатыми при эксплуатации трудящихся, но ведь изобретения также дают дальнейший толчок развитию производительных сил. Иными словами, помогая развитию капитализма, они этим самым приближают его к собственной гибели, так как у его классового врага (рабочего класса) начинает расти самосознание. Непосредственно же, печатное слово помогает расширять и углублять классовую идеологию трудящихся. С увеличением материального прогресса, основы общественной жизни, духовный прогресс тоже увеличивается. Толстой же хочет строить здание без основания, поэтому у него выходит, что материальный прогресс—движение не вперед, а назад.

Когда мы сравниваем эту статью, написанную в 1862 г. с его трудами, написанными после 80-х гг., мы видим, что время принесло очень мало изменений в его отношении в науке. Даже книгопечатание им считалось вредным тогда. Уже в то время он осуждал литературу за то, что она роет пропасть между бедным и богатым еще глубже, за то, что она будто вредна для большинства. Уже в то время единственный критерий науки—в улучшении нравов, как он их понимал; уже и тогда он считал безграмотного в нравственном отношении выше образованного. Его враждебное отношение к культуре, ярко выраженное на старости лет, довольно рельефно выделяется уже в первые годы его литературной деятельности. Уже тогда он не имел уважения к печатному слову, свалив в одну кучу «стихи, повести, скандалы и сплетни».

Что же касается науки, то она им рассматривалась как злой дух культуры и ее он не любил, как добрый христианин. Об этой своей нелюбви к науке он писал много и очень резко. Вот некоторые иллюстрации его оценки науки:

«Человек, признающий небеса твердым сводом, признающий дьявола и чудеса святых, и человек, признающий атомы и спиритизм, несколько не разнятся по своей восприимчивости, по своей пригодности для познания истины и для нравственной деятельности. Они разнятся по, так сказать, умственному возрасту. Один взрослый человек,—другой ребенок или юноша...

«Занятия наукой суть специальные занятия, наполняющие досуг человека и служащие на пользу другим людям, точно такие же занятия, как изготовление пирожков, делание ламп и чего хотите. А наша несчастная молодежь придает этим занятиям значение нравственной деятельности. Вот в чем беда... Одним не мешает самое высшее значение видеть, в чем истинная деятельность человека, а другие (как вы ни развивайте для них область знаний) уткнулись в атомы и силы, как в Иверскую и мощи, и думают, что в них все, и что, кроме того, как ставит свечи Иверской и изучать материю, больше делать нечего» ¹⁾.

¹⁾ «Спелые Колосья», стр. 105—107.

Сравнение теории атомов с Иверской довольно характерно для его собственного фанатизма. Казалось бы, что занятия науками раз они полезны, пусть только в той мере, как изготовление ламп, осуждению не подлежат, и сравнение их с поклонением мощам, ни на чем не основано. Еще более характерен его ответ крестьянину, когда тот спросил у Толстого, давать ли образование своему сыну. Это письмо было написано Толстым в 1909 г., т.-е. за год до его смерти. Оно как бы подитоживает его отношение к науке.

«Они,—пишет он,—с одинаковым старанием и важностью исследуют вопрос о том, сколько весит солнце и не сойдется ли оно с такой или такой звездой, и какие козявки где живут и как разводятся, и что от них может сделаться... и какой царь с каким воевал и на ком был женат... и почему нужны тюрьмы и виселицы, и как и чем заменить их, и из какого состава какие камни и какие металлы... и как делать электрические двигатели и аэропланы, и подводные лодки, и пр., и пр. И все это науки с самыми странными вычурными названиями, и всем этим с величайшей важностью передаваемым друг другу последованиям конца нет и не может быть, потому что делу бывает начало и конец, а пустякам не может быть и нет конца... Выдумывают эти люди всякие игры, гулянья, зрелища, театры, борьбы, ристалища, в том числе и то, что они называют наукой.

«Знаю, что эти мои слова покажутся верующим в науку,—а в науку теперь больше верующих, чем в церковь, и веру эту еще никто не решается назвать тем, что она есть в действительности: простым и очень грубым суеверием,—покажутся мои слова таким страшным кощунством, что эти верующие не удостоят мои слова внимания и даже не рассердятся, а только пожелают о том старческом оглупении, которое явствует из таких суждений...

«Но если и допустить, что мир действительно таков, каким он представляется одному из бесчисленных существ, живущих в мире—человеку, или то, что, не имея возможности познать мир, каков он в действительности, мы довольствуемся изучением того мира, который представляется человеку, то и тогда познание этого мира не может точно так же удовлетворить требованиям разумной любознательности. Не может удовлетворить потому, что все явления этого мира представляются человеку не иначе, как в бесконечном времени и бесконечном пространстве...

«Человек произошел от низших животных, а низшие животные от кого? А сама земля как произошла? А как произошло то, от чего произошло земля? Где мне остановиться, когда я знаю, что во времени конца нет и не может быть ни вперед, ни назад?»¹⁾

То же возражение об относительности наших знаний он представляет в другом месте: «Если человек думает, что все, что он видит вокруг себя, весь бесконечный мир точно таков, каким он его

¹⁾ «О ложной науке» (ответ крестьянину), прилож. к «Русскому слову», т. XXI, стр. 57—59.

видит, то он ошибается. Все телесное человек знает только потому, что у него такое, а не иное зрение, слух, осязание. Будь эти чувства другие,—и весь мир был бы другой. Так что мы не знаем и не можем знать, каков тот телесный мир, в котором мы живем. Одно, что мы верно и вполне знаем, это нашу душу»¹⁾.

А почему мы так «верно и вполне знаем нашу душу» этого Толстой не нашел нужным подробно разъяснить сказать, что все достижения науки состоят в одной каталогизации и наименовании предметов науки, значит вполне сознательно закрыть глаза на ее достижения. Наука для него—суеверие, но если ученые не могут сказать, как произошли низшие животные, то из этого вовсе не следует, что они произошли от бога и что такое заключение не суеверие. Почему проведение границы, где-то в бесконечности времени и пространства и наименование ее первопричиной более понятно, чем гипотезы науки?

Но может быть Толстым не была признана теоретическая наука, в которой он не видел прямой пользы для людей, а была признана прикладная наука, скажем, медицина?—И к медицине он относился отрицательно, так как медицине якобы приходится, перешагнув через сотни людей, помогать только единицам и то таким, которые не вполне выздоравливают, становясь лишь бременем для себя и для общества. В лучшем случае, медицина может только залечить болезнь, но не предупредить ее. Народу не указывают, как избежать болезни, он не окружен необходимыми условиями, которые делали бы помощь врача излишней, но стараются лечить людей, когда уже поздно.

«В еще худшем положении,—говорит он,—находится врач. Его воображаемая наука вся так поставлена, что он умеет лечить только тех людей, которые ничего не делают и могут пользоваться трудами других. Ему нужно бесчисленное количество дорогих приспособлений, инструментов, лекарств, гигиенических приспособлений квартиры, пищи, нужника, чтобы ему научно действовать; ему, кроме своего жалованья, нужны такие расходы, что для того, чтобы вылечить одного больного, ему нужно заморить голодом сотню тех, которые понесут эти расходы. Он учился у знаменитостей в столицах, которые держат пациентов только таких, которых можно лечить в клиниках, или которые, лечась, могут купить необходимые для лекарства машины и даже переехать сейчас с севера на юг и на такие или другие воды»²⁾.

Это типичный пример того, как Толстой умаляет значение всего, что ему не нравится и как он не останавливается даже перед преувеличением, если оно может подкрепить высказанное им положение. «Чтобы вылечить одного больного, ему нужно заморить голодом сотню тех, которые понесут эти расходы». Если это даже верно по отношению к представителям буржуазии, то в общем этот

¹⁾ «Путь жизни», стр. 49—50.

²⁾ «Так что же нам делать?», т. XIII, 184).

взгляд далеко не верен, и Толстой не мог не знать этого преувеличения. Но разве его «героиня-правда» не страдала довольно часто, когда ей изменяли во имя «христианской истины»? Примерно, когда Толстой говорит, что медицина не сделала никакого прогресса с начала ее существования.

Почему же Толстой так нападает на медицину и врачей?—А критикует он их потому, что врачи, сами не зная причины болезни, не будучи в состоянии оказывать помощь больным, все же берутся лечить, т.-е. они просто напросто шарлатаны. При нынешнем состоянии медицины причины болезни не могут быть уложены в какие-то определенные законы. Человек—не машина, и один человек отличается от другого, поэтому осложнения бывают такие, что врачи не могут знать про них, тем более предвидеть.

Теперь же положение вещей таково, что продолжительность жизни большинства людей, ввиду неподходящих условий, сокращается на половину, и вина врачей, главным образом, в том, что они скрывают истинное положение вещей от общества. Поступают они так ради своей выгоды, ибо чем меньше публика знает про невежество врачей, тем лучше для них, как это было в старину с кастой жрецов. Но несмотря на их обман, вера, или суеверие в них все же существует по тем же причинам, по которым существовала вера в чародеев. «Наука в наше время занимает совершенно то место, которое занимало жречество несколько сот лет тому назад.

«Те же признанные жрецы—профессора, те же касты жречества в науке—академии, университеты, съезды.

«То же доверие и отсутствие критики в верующих и те же среди верующих разногласия, не смущающие их. Те же слова непонятные, вместо мысли, та же самоуверенная гордость.

— «Что же с ним говорить, он отрицает откровение».

— «Что же с ним говорить, он отрицает науку» ¹⁾.

А существование каст в науке, как и в обществе, не согласуется с христианством, ибо равенство—основной завет Христа.

Л. Толстой—принципиальный и непримиримый враг просвещения.

Если современная культура ложна и вредна, по учению Толстого, то просвещение в его глазах стоит ничуть не выше и не только потому, что в учебных заведениях обучают этой ложной культуре. Школа имеет свои собственные грехи: основана она на насилии и конечной целью ставит покорность молодого поколения. К этому убеждению он пришел рано, еще в периоде своей педагогической деятельности, т.-е. в начале 60-х годов. В своей статье «О народном образовании» он так критикует школу:

«Ребенок идет в школу с убеждением, что единственно известная ему власть отца не одобряет власти правительства, которой он покоряется, поступая в школу. Известия, которые он получает от

¹⁾ «Путь жизни», стр. 284.

старших товарищей, бывших уже в этом заведении, не должны прибавить ему охоты к поступлению. Школы представляются ему учреждением для мучения детей,—учреждением, в котором лишают их главного удовольствия и потребности детского возраста—свободного движения, где Gehorsam (послушание) и Ruhe (спокойствие)—главные условия, где даже для того, чтобы пойти на час, ему нужно особое позволение, где каждый проступок наказывается линейкой, тою же палкой, хотя в официальном мире значится уничтожение телесного наказания линейкой, или продолжение для ребенка жесточайшего положения учения. Школа справедливо представляется ребенку учреждением, где его учат тому, чего никто не понимает, где его большею частью заставляют говорить не на своем родном: patois Mundart, а на чужом языке, где учитель большей частью видит в учениках своих прирожденных врагов, по своей злобе и злобе родителей, не желающих выучить того, что он сам выучил, и где ученики, наоборот, смотрят на учителя, как на врага, который только по личной злобе заставляет их учить столь трудные вещи. В таком заведении они обязаны пробыть лет шесть и часов по шести каждый день» ¹⁾).

Не надо думать, что Толстым имелась в виду одна русская школа. Познакомившись с западно-европейской системой преподавания во время своего пребывания за границей, он пришел к заключению, что школьная система просвещенного Запада была вовсе не такая совершенная, чтобы брать с нее пример. Наоборот, всеобщее обязательное учение, которым Западная Европа так гордится, он считал большим недостатком, вследствие того, что при обязательном обучении приходится прибегать к насилию.

Нападал он не на какой-нибудь педагогический метод, а на все существующее обучение, обвиняя учителей в том, что их преподавание и отношение к ученикам только портит их. Школа поставлена так, что учитель видит в учениках своих врагов, и так как это отношение продолжается из поколения в поколение, то это доказывает, что в самой постановке школы, независимо от того или иного преподавателя, есть что-то такое, что отталкивает учащегося, вместо того, чтобы его привлечь. И учащийся далеко неохотно посещает место, где ему приходится встречаться со своим врагом—учителем.

А все это потому, что школа, установленная сверху и силой, уподобляется стаду, нужному для пастуха, ибо администрацией принимаются во внимание не ученики, а учитель. По этой-то причине игра, разговор, смех, свободное движение детей—условия, при которых ученики чувствовали бы себя свободными и довольными, совершенно недопустимы. А чтобы добиться полного послушания, у учителя есть только одно средство—дисциплина, но она нужна ему для собственного удобства, а ученикам она не только не приносит пользы, но применение дисциплины скверно влияет на душу ребенка.

¹⁾ Т. IV, стр. 18—19.

Учитель совершенно не заинтересован жизнью ребенка, а потому он не старается изучить ее. Наоборот, это школьникам приходится изучать учителя, дабы они могли приспособиться к нему. В правдивости этого положения можно убедиться, присматриваясь к ребенку в школе, когда он находится под зорким оком учителя, и на улице, когда он предоставлен самому себе. В школе он скучен, невнимателен, часто туп и рассеян, а на улице он резв, внимателен и наблюдателен.

Надо ли еще сомневаться в том, что школьная система калечит детей. Помимо того, школа должна развиваться вместе с жизнью, однако везде установлен одинаковый тип школы, как-будто жизнь была бы одинакова везде. Насколько школа не соответствует ее назначению, можно судить по тому, что, по мнению Толстого, средневековая школа лучше отвечала потребностям своего времени, чем современная.

И не только одна низшая ступень школы не отвечает нуждам времени, не только она одна находится в таком плачевном положении. Высшее учебное заведение не больше отвечает запросам времени, чем низшая школа. Оно не prepares молодых людей к тому руководящему положению, которое они должны будут занимать в обществе по окончании курса. Потратив много лет на занятия, по окончании учебного заведения, кандидат не знает за что взяться. Все науки, которые им изучались оказываются ненужными для того поста, который приходится занимать. Бесполезными оказываются и интегральные вычисления, и греческая литература, и римское право. Все эти предметы навязываются школьной администрацией студенту, не позволяя ему выработать ни самостоятельного характера, ни самостоятельных взглядов на жизнь. Его только кормят информацией, которая ему ни на что не пригодна. Молодой человек там не только не приобретает нужных знаний, но теряет свое время, и для него было бы гораздо лучше, если бы он был предоставлен самому себе. Но современная школа имеет целью привить не свободу,—а покорность и подготавливает юношу быть послушным орудием в руках привилегированного класса.

История педагогики нас учит, что учащимся приходилось платить за все ошибки новых теорий, ибо недостаток теорий состоит в том, что все старые методы забрасываются. В результате получается крайняя односторонность воспитания. В лучшем случае новые методы могли бы быть пригодными для некоторых учащихся, но не для всех. Педагоги же напаяли на всех один метод, как будто все учащиеся имеют одинаковые способности и интересы. Но как ни плох новый метод, еще хуже дело обстоит с самими педагогами. Преподавание по плечу не каждому, кто берется за него, и зависит оно от личных способностей преподавателя, а не только от метода. За преподавание берется каждый, и потому результаты такие скверные. Толстой рисует воспитание так:

«Воспитание есть стремление одного человека сделать другого таким же, каков он сам. (Стремление бедного отнять богатство у

богатого, чувство зависти старого и при взгляде на свежую и сильную молодость,—чувство зависти, возведенное в принцип и теорию). Я убежден, что воспитатель только потому может с таким жаром заниматься воспитанием ребенка, что в основе этого стремления лежит зависть к чистоте ребенка и желание сделать его похожим на себя, то есть больше испорченным... что воспитание, как умышленное формирование людей по известным образцам,—не плодотворно, незаконно и невозможно. Здесь я ограничусь одним вопросом. Права воспитания не существует. Я не признаю его, не признает, не признавало, и не будет признавать его все воспитываемое молодое поколение, всегда и везде возмущающееся против насилия воспитания» ¹⁾).

Толстой придавал воспитанию совершенно другое значение, чем воспитатели. Что же такое воспитание? Вот его ответ: «Мы убеждены, что образование есть история и потому не имеет конечной цели. Образование в самом общем смысле, обнимающее и воспитание, по нашему убеждению, есть та деятельность человека, которая имеет основанием потребность к равенству и неизменный закон движения вперед образования» ²⁾).

Смысл этого неясного выражения «неизменный закон движения вперед образования»—мы узнаем, когда вспомним, что прогресс для Толстого заключается не в развитии науки, не в материальном улучшении быта общества, а в развитии нравственных и религиозных идей. Но если наука пошла по ложному пути; если ученые занимают такое же положение, какое некогда занимали жрецы; если воспитатели желают испортить ребенка, завидуя его чистоте, тогда, значит, ни наука, ни школьное воспитание не нужны. Толстой, однако, не говорит этого: наука как активность разума, так же необходима, как питание для тела, утверждает он, но вместо «ложной» науки нужна «истинная» наука, имеющая своим основанием христианскую нравственность. В «царстве божьем на земле» ученых и воспитателей, как они понимаются теперь, вовсе не будет. Истинные учителя жизни будут слишком заняты, чтобы предаваться такому вредному, времяпрепровождению: они будут заняты другим, более полезным делом: учить людей жить здоровой семейной жизнью, уважать друг друга, объяснять им вред войны, т. е. они будут учителями нравственности. «Только тогда наука перестанет быть тем, чем она есть теперь: с одной стороны,—системою софизмов, нужных для поддержания отжившего строя жизни, с другой стороны,—бесформенной кучей всяких, большею частью мало или вовсе ни на что ненужных знаний, а будет стройным органическим целым, имеющим определенное, понятное всем людям и разумное назначение, а именно: вводить в сознание людей те истины, которые вытекают из религиозного сознания нашего времени» ³⁾).

¹⁾ «Воспитание и образование», т. IV, стр. 87—88.

²⁾ «О народном образовании», т. IV, стр. 31.

³⁾ «Что такое искусство?», т. XVI, стр. 157.

«Наука» эта—не новая затея, она уже давно существует и существовала еще прежде, чем «ложная» наука выступила на сцену. «Законы» Солона, Конфуция—наука; учение Моисея, Христа—наука; постройки в Афинах, псалмы Давида, обедни—искусство; но изучение тел в четвертых измерениях и таблиц химических соединений и т. п. никогда не было и не будет наукой. Место настоящей науки занимают в наше время церковные и правительственные обряды, в которые одинаково никто не верит и на которые одинаково никто не смотрит серьезно; то же, что называется у нас наукой, искусством, есть произведение праздного ума и чувства, имеющее целью щеко-тать такие же праздные умы и чувства, непонятное и ничего не говорящее народу, потому что не имеет в виду его блага»¹⁾.

Но если «таблицы химических соединений никогда не были и не будут наукой», а науками являются учения Конфуция и Моисея, то, очевидно, что их можно причислить уже к наукам прошлого, но согласно разделению Толстым всех нравственных учений на три разряда, их можно причислить только к категории второго разряда, т.-е. они еще являются языческими учениями. Таким образом, «истинной наукой» оказалось бы только христианское учение, но и то даже не первых христиан, чье толкование еще является полу-языческим (согласно Толстому). Нравственность и «истинная» наука, значит, преследуют ту же цель, а наука есть только другое обозначение понятия нравственности, тем более, что наука наподобие химии, «есть произведение праздного ума», «ничего не говорящего народу» и не имеющее «в виду его блага».

Итак, то, что мы подразумеваем под понятием науки, должно быть изгнано из «божьего царства на земле». Религиозно-нравственные «науки» должны быть на первом плане, а прикладные науки, доведенные до минимума,—на втором. Но сначала должно быть основано на земле божье царство, а потом можно будет уже подумать о прикладных науках. В «божьем царстве на земле» ученые будут вести совершенно другой образ жизни. Чтобы заслужить народное доверие, им придется также заниматься физическим трудом, т.-е. крестьянской работой: удобрять и пахать поле, сеять и т. д., ибо всякий нефизический труд считается крестьянами непродуктивным и привилегированным, и занятие исключительно таким трудом не ведет к объединению вождей и трудящихся.

Наука будущего вытеснит все ложные науки, теоретические и прикладные, и будет она состоять из трех категорий: (I) из науки о душе человека; (II) о боге и (III) о нравственности. Сначала человек займется проблемой души, своим духовным «Я», затем он займется окружающим его миром, а затем вопросом нравственности, т.-е. отношением своего «Я» к бесконечному миру и практическими результатами, отсюда вытекающими. А так как более полезных наук быть не может, то остальные выбросят, как ненужный хлам. В сравнении с этими науками вопрос о «козявках» ничего не стоит.

¹⁾ «Так что же нам делать?», т. XIII, стр. 200.

Из этого следует, что жизнь вообще будет вестись иначе, чем она велась до сих пор. Простая деревенская жизнь займет место городской. Только тогда возможны будут свобода и равенство, и так как познание добра и зла лежит в самом человеке, а «истинный христианин» никого не признает над собой, воспитатель и школа, как мы их теперь знаем, вовсе будут не нужны.

Новая жизнь, как было сказано, не будет строиться в городе—этом паразите человечества,—а в деревне. Надо только вдуматься во все эти притеснения, преступления, отравленную жизнь, которым городские жители подвергаются, живя в этом нравственно и физически зараженном месте, чтобы понимать, что счастливой жизни никогда не может быть в городе.

В произведении «Так что же нам делать?» Толстой описывает московские трущобы, знаменитый Ляпинский дом, с которыми он познакомился, когда он обходил квартиры во время всеобщей переписи. Если он раньше не любил города, его ненависть к нему еще больше возросла, после того как он насмотрелся там горя, нищеты, ненависти, после того как он встретился с ужасным развратом. После нескольких посещений этого дома, он еще больше убедился, что филантропией не только нельзя помочь делу, но что она вносит больше нравственного разложения, чем пользы. Еще с юных лет он не питал особенной любви к городу, после же этого случая—город для него стал олицетворением всех пороков и несчастий.

(Квитко, Д. Ю.—Философия Толстого. Изд. Ком. Академии).

А. МАРТЫНОВ.

Общественная идеология Л. Н. Толстого.

Л. Толстой на всех этапах своего развития был и оставался барин.

Отношение Толстого к крестьянству в зрелые его годы было уже не такое, как в молодые годы. Молодой Толстой считал своим долгом опекать «своих» крестьян. В зрелые годы, наоборот, он говорил, что ему нечему их учить, что он сам должен у них учиться. Но и в том и другом случае он не становился на точку зрения классовых интересов крестьянства. В раннем своем произведении «Утро помещика», написанном в 1852 г. на Кавказе, Толстой, в лице Нехлюдова, ретроспективно описывает свои переживания в период первых опытов самостоятельной помещичьей жизни. «Не моя ли священная обязанность,—говорит Нехлюдов,—заботиться о счастье этих 700 человек, за которых я должен буду отвечать богу. Не грех ли покидать их на произвол грубых старост и управляющих из-за планов наслаждения и честолюбия!» И Нехлюдов стал усердно «заботиться». Однако, в этих просвещенных своих заботах, молодой барин на каждом шагу наталкивается на упорное сопротивление крестьян. Крестьянин Чурисенок, несмотря на все красноречие

Нехлюдова, не хочет променять свою прогнившую и развалившуюся избу на образцовую герардовскую избу, построенную барином. Герардовская изба для него «острог», а своя изба ему мила, потому что стоит «на миру, где место веселое, обычное... где все наше заведение мужицкое, искони заведенное». Баба в слезах умоляет барина не благодетельствовать их переселением. Другой адепт его забот—Юфанька—явно дурачит, обманывает доброго барина, издевается над ним. Хитрый управляющий, к содействию которого он обращается, относится к его затеям снисходительно, со скрытой насмешливостью. Понимает ли Нехлюдов и сам автор причину глубокого недоверия крестьян к просвещенным и благотворительным барским затеям? Понимают ли они, что это глубокое недоверие есть продукт векового гнета крепостников-помещиков над мужиками? Понимают ли они, что мужику нужна была прежде всего не «герардовская изба», а избавление от помещика? Нет, ни Нехлюдов, ни Толстой этого не понимают, и Нехлюдов из своих неудач делает лишь следующий вывод: «Вот она, нищета и невежество! Если останутся такие мужики, мечты мои никогда не сбываются,—подумал он, испытывая досаду и злобу на мужика за разрушение его планов». У Нехлюдова, как мы видим, не суббота для человека, а человек для субботы: счастье мужиков необходимо для его идеальной мечты.

Чем больше Толстой проникался недоверием к благам цивилизации, тем больше он освобождался от этого барского покровительственного отношения к мужику. Отношение это сменялось противоположным—преклонением перед мужиком и его жизнью, такими как они есть, со всеми их темными и светлыми сторонами. Но и в этом новом отношении к крестьянину зрелого Толстого не было ни атома понимания его классовых интересов. Это означало понижение требовательности по отношению к мужику, т.-е., в сущности, то же самое барское высокомерие по отношению к нему. В своей «Исповеди» Л. Толстой рассказывает:

«Я стал сближаться с верующими из бедных, простых, неученых людей, со странниками, монахами, раскольниками, мужиками. Вероучение этих людей из народа было тоже христианское, как вероучение мнимо-верующих из нашего круга. К истинам христианским было примешано тоже много суеверия, но разница была в том, что суеверие верующих нашего круга было совсем не нужно им, не вязалось с их жизнью, было только своего рода эпикурейской потехой; суеверия же верующих из трудового народа были до такой степени связаны с их жизнью, что нельзя было себе представить их жизнь без этих суеверий. Они были необходимым условием в этой жизни».

Итак, для Толстого и «людей его круга»—одна мерка, для мужиков—другая. Что можно требовать от барина, того нельзя требовать от мужика; что в применении к первому было бы просто глупостью, то в применении ко второму приобретает мистический смысл, является «необходимым условием» жизни. Исходя из этого

отношения к мужику, рационалист Толстой, сам никогда ни в какие чудеса не веривший, в своих сказках для народа систематически вводит в качестве действующих лиц чертей, и не так, как вводил их, например, Гоголь, не для художественного изображения наивной народной психологии, а из соображений тенденциозных, нравоучительных, чтобы искусственно привести сказку к желательной для автора развязке, для того чтобы внушить читателю из народа суеверное преклонение перед толстовскими правилами жизни.

Преклонение Толстого перед стихийностью, перед темной стихийной жизнью крестьянских масс и его отрицание цивилизации, не только крепостной или буржуазной, но цивилизации вообще, было отражением тупика и бесперспективности его эпохи и связано было у него с отрицанием законов исторического развития. В своей статье «Прогресс и определение образования» Толстой пишет:

«Марков верит в прогресс, а я не имею этого верования... Здравый смысл говорит мне, что ежели большая часть человечества, весь так называемый Восток не подтверждает законов прогресса (теперь уже подтвердил!—А. М.), а напротив, опровергает его, то закона этого не существует для всего человечества... Я, как и все люди, свободные от суеверия прогресса, вижу только, что труды прошедшего часто служат основой для новых трудов настоящего, часто служат и преградой для них, что благосостояние людей то увеличивается в одном месте, в одном слое, в одном смысле, то уменьшается... Я не вижу никакой необходимости отыскивать общие законы в истории, не говоря о невозможности этого. Общий вечный закон написан в душе каждого человека».

Это философия квиетизма, застоя, это то, что раньше можно было называть «азиатчиной»!

Учение Толстого приводит к отрицанию права на жизнь.

Временный исторический тупик, наличие классовых антагонизмов, которые, однако, еще не дозрели до превращения в открытую, сознательную, классовую борьбу, явное отмирание старого крепостного строя при отсутствии ясных перспектив на будущее, сделали Толстого врагом цивилизации и певцом каратаевщины, стихийности и первобытности. Понятно поэтому, что по мере того, как стали яснее определяться и резче проявляться политические и социальные силы, сулящие вывести Россию из исторического тупика, мотивы поэтического творчества Л. Толстого стали все более оскудевать. Чем больше до Толстого доносился шум исторического движения, с которым он не сумел слиться, чем больше кругом него закипала политическая борьба, чем больше ненавистные ему «деньги» делали опустошения в устоях натурального хозяйства, тем больше обострялась внутренняя драма, переживаемая Толстым, тем больше жизнерадостный Толстой проникался пессимизмом. Так, еще в конце 70-х годов, в период народовольчества и усиленного первоначального

накопления, с прелестями которого Толстой познакомился, участвуя в переписи, у него назрел душевный кризис, который превратил Толстого—поэта и отчасти «язычника» в Толстого—моралиста и религиозного аскета.

В 50-х и 60-х годах Толстой—поэт, «родившийся отяснополян-ской природы по наследству», еще имел психологическую возможность игнорировать город с его разночинцами, с его буржуазией и пролетариатом, с его денежным хозяйством, с его либерализмом и социализмом. Но с течением времени все эти чуждые ему явления все насильственнее и навязчивее вторгались в его внутренний мир, заражая его глубоким пессимизмом. В то время как он звал назад, к первобытному состоянию, к свободе от пут цивилизации, жизнь ковала новые крепкие цепи «рабства нашего времени», и Толстому оставалось только беспомощно и безнадежно звать к людям: «Одумайтесь, измените свое понимание жизни!» (см. Л. Толстой, «Неделание»). С тоской и упреком заговорил он в своей книге «Рабство нашего времени» о «теориях», предпочитающих «жизнь в городе, среди камня и дымных труб—жизни деревенской, на просторе, среди растений и домашних животных». С укоризной говорит он о том, что «люди науки, а за ними (?) и все достаточные классы во что бы то он стало хотят отстоять существующее теперь распределение и разделение труда, дающие возможность производить то большое количество предметов, которым они пользуются». Говоря о том, чем держится «рабство нашего времени», Толстой отмечает три условия: «Два первые: недостаток земли и подати как бы загоняют человека в подневольные условия; третье уже условие—неудовлетворенные, увеличенные потребности заманивают его в эти условия и удерживают в них... Рабочие, живя вблизи богатых людей, всегда заражаются новыми потребностями». Вот этот-то рост потребностей и «составляет самую твердую, неустрашимую причину рабства». Против этого рабства социалисты бессильны, так как «отменяя узаконения о собственности земли и орудий производства», они «неизбежно должны будут ввести узаконения о принуждении к работе, т.-е. устанавливается опять рабство в его первобытной форме». «Уже и теперь,—говорит Толстой,—можно видеть передовые узаконения, подготовляющие новую, неиспытанную форму рабства». Это «ограничение часов работы, возраста, состояния здоровья, требование обязательного посещения школ, отчисление процентов на призрение старых и увечных, меры фабричной инспекции и пр.». Основным источником рабства в том, что есть вообще узаконения.

Спасаясь от старой, прогнившей, аристократической цивилизации, Толстой-поэт мог еще довериться свободной стихийной жизни народа со всеми ее потребностями, заботами и трудами, мог еще восторгаться забубенным удалцом Лукашкой. **Чтобы найти оплот против новой буржуазной цивилизации и «грядущего рабства» социализма, Толстой стал проповедовать обуздание своих потребностей и отказ от интенсивности труда.** «Труд,—писал он против

Зоя в статье «Неделание»,—не только не есть добродетель, но в нашем ложно организованном обществе есть, большею частью, нравственно анестезирующее средство, вроде курения или вина, для скрывания от себя неправильности и порочности своей жизни». Так Толстой приходит постепенно к идеалу китайского философа Лао-Тзе, по учению которого «Тао (добродетель) может быть достигнута только через неделание».

Первоначально, в период расцвета своего художественного творчества, Толстой, ища спасения от изломанности сознательных цивилизованных людей, думал, что слияние с народом и растворение в гармонической жизни народа—детей природы, могло бы дать ему счастье. Но по мере того, как новая цивилизация на его глазах проникла в народную жизнь, разрушая ее непосредственность, по мере того, как эта цивилизация становилась сама постепенно «второй природой» народа, он стал отрекаться от самой природы, он стал отвергать самое счастье как цель, и от «языческого» эвдемонизма пришел к религиозному аскетизму. «Просветленный» и раскаявшийся Толстой стал христианином, хотя и не в конкретно-историческом смысле этого слова.

Оставаясь попрежнему врагом всякой цивилизации, всякого исторически сложившегося общества, всего связанного и созданного историей, Толстой, ставший «христианином», гораздо беспощаднее и откровеннее, чем раньше, бичует цивилизованное государство и всякого рода «цивилизованных» насильников (напомним его рассказ «Николай Палкин» и статью «Не могу молчать»). Не менее жестоко он бичует казенную, исторически сложившуюся церковь с ее догматами. «Каково происхождение церкви?»—спрашивает он в статье «Церковь и государство» и отвечает: «Один из наследников разбойничьих атаманов, Константин, начитавшись книг и пресытившись похотной жизнью, предпочел некоторые догматы христианства прежним верованиям—принесению людских жертв он предпочел обедню, почитанию Аполлона, Венеры и Зевса он предпочел единого бога с сыном христом и велел ввести эту веру». А какова ценность этих догматов? «На какой ни взглянешь догмат, хоть с самого начала—догмат божественности христа, до причастия с вином или без вина, их плоды.. злоба, ненависть, казни, изгнания, побоища и т. п.».

Лев Толстой отвергает историческую церковь и ее догматы, но он воспринимает сущность христианского учения, выразившуюся, как он говорит, всецело в нагорной проповеди, которую в течение 15 веков все стараются скрыть и исказить. «Это откровение,—говорит Толстой,—это христианское, всемирное или божеское жизнепонимание пришло на смену и в отмену прежних двух жизнепониманий: первого—личного или животного и второго—общественного или языческого» (см. «Церковь и государство», «О верах», «Царство божие внутри нас»).

В чем же суть этого «божеского жизнепонимания»? «Разумный смысл жизнь получает только тогда,—говорит Толстой,—когда

человек понимает, что признание своей жизни своею, целью ее—мирское благо личности своей или других людей—есть заблуждение и что жизнь человека принадлежит не ему, получившему жизнь от кого-то, а тому, кто произвел эту жизнь. А потому и цель ее должна состоять не в достижении блага своего или других людей, а только в исполнении воли Того, Кто произвел ее». «Общественное жизнепонимание,—говорит он в другом месте,—естественным ходом от любви к себе, потом к семье, к роду, к народу, к государству... привело людей к сознанию необходимости любить человечество... т.-е. к противоречию», ибо «человечества мы не знаем, как внешний предмет». Общественное жизнепонимание, исходя из этого эгоистического искания счастья, дает «заповеди, положительно предписывающие известные поступки». В противоположность ему, христианское жизнепонимание дает «заповеди отрицательные»—пять заповедей нагорной проповеди все отрицательные.

Так Толстой-поэт, завидовавший некогда «непосредственному эгоизму» своего брата, тщетно пытавшийся затем слиться с «зоодогической» «роевой» жизнью несознательных народных масс, пришел в третий период своей жизни к религиозному аскетизму и отказу от права на счастье.

Из этой аскетической морали Толстого логически вытекало его пресловутое «непротивление злу». «Мы не можем,—говорит он,—бороться насильем с разбойником, покушающимся на жизнь ребенка, ибо мы не знаем относительной ценности жизни этих двух существ; мы на земле лишь «работники» и нам не дано знать того «плана», по которому мы работаем, ибо план этот знает лишь «Хозяин», давший нам жизнь». Каким же образом исчезнет зло и насилие на земле? «Вследствие того, что... наиболее злые люди, находящиеся у власти, становясь все менее и менее злыми, сделаются уже настолько добры, что станут неспособны употреблять насилие». «Карл V, Иоанн IV и Александр I,—говорит он,—познав всю тщету и зло власти, отказывались от нее, потому что видели уже все зло ее и были не в силах спокойно пользоваться насилием, как добрым делом, как они делали это прежде» (см. Л. Толстой, «Царство божье внутри нас»). Особенно бесподобны тут примеры Ивана Грозного, отказывавшегося, как известно, от власти накануне жесточайших казней, и Александра I, у которого наступило «просветление», как известно, в период аракчеевщины!

К таким выводам пришел Толстой-моралист, тот самый Толстой, который в зените своей художественной славы воспевал героизм русского народа и говорил: «Благо тому народу, который в минуту испытания поднимает первую попавшуюся дубину и гвоздит ею до тех пор, пока в душе его чувство оскорбления и мести не заменится презрением и жалостью».

Параллельно и в тесной связи с превращением Толстого-поэта в Толстого-моралиста и «учителя жизни», шло оскудение мотивов его художественного творчества.

«Севастопольские очерки» и «Война и мир» — эпопеи народной жизни. Их герой — народ. В «Анне Карениной» нет народа. Цель романа — разрешение индивидуальной проблемы любви. Но, если тут нет борьбы за самосохранение народа, то тут еще есть проблема самосохранения вида, и она разрешается положительно. В «Крейцеровой сонате» Толстой делает еще шаг назад и совсем уходит от мира. «Достижение цели, соединения в браке или вне брака с предметом любви, — говорит он в послесловии к «Крейцеровой сонате», — как бы оно ни было опоэтизировано, есть цель, недостойная человека». Тут он уже отрицает право на сохранение вида — самое право на жизнь!

В наши дни толстовство — знамя реакции.

Ленин в статье «Л. Н. Толстой и его эпоха», в 1911 г., писал:

«Учение Толстого безусловно утопично и по своему содержанию реакционно в самом точном и самом глубоком значении этого слова. Но отсюда вовсе не следует ни того, чтобы это учение не было социалистическим, ни того, чтобы в нем не было критических элементов, способных доставлять ценный материал для просвещения передовых классов... Далее. Критические элементы свойственны утопическому учению Л. Толстого, так же как они свойственны многим утопическим системам. Но не надо забывать глубокого замечания Маркса, что значение критических элементов в утопическом социализме «стоит в обратном отношении к историческому развитию». Чем больше развивается, чем более определенный характер принимает деятельность тех общественных сил, которые «укладывают» новую Россию и несут избавление от современных социальных бедствий, тем быстрее критический утопический социализм «лишается всякого фактического смысла и всякого теоретического оправдания».

Эти слова были верны для того времени, когда Ленин их писал. Еще больше они верны в применении к настоящему времени, когда Россия не только вышла из «восточной неподвижности», но и «уложилась» в социалистическую республику, когда вслед за ней и страны Востока вступили на путь революционного исторического развития.

В художественных произведениях Толстого есть много «критических элементов, способных доставлять ценный материал для просвещения передовых классов». В чем заключается этот «ценный материал?» Толстой дал нам много ярких картин, обличающих гнусные черты крепостной и буржуазной «цивилизации», изобличающих ничтожество и пустоту жизни высшей аристократии и высшей бюрократии, дал нам яркие обличения казенной исторической церкви и ее догматов. Толстой дал нам несравненные по своей художественной ценности изображения явлений индивидуальной и массовой психологии. Толстой дал нам редкие по своему реализму, по своей правдивости и проникнутые любовью изображения жизни

и быта крестьян, горцев и солдатской массы дореволюционной эпохи. Наконец, в художественных произведениях Толстого, как в зеркале, отразились противоречия переходной дореволюционной эпохи.

Но, на ряду с этим, мы имеем в творчестве Толстого ряд глубоко реакционных черт. Критика крепостной цивилизации у него превращается в критику цивилизации вообще, в отрицание исторического прогресса. Критика казенной церкви у него сопровождалась проповедью рационализированного, а потому более утонченного и более вредного религиозного учения. Его противопоставление быта и взглядов дворянства и крестьянства не выявляло их классового антагонизма, не выявляло противоречия их классовых интересов, а выявляло лишь противоречия между изломанной жизнью «цивилизованного общества» и близкой к природе жизнью трудового крестьянства. Соответственно с этим, по мере разрушения натурального хозяйства, по мере обострения классовых противоречий и развития классовой борьбы, Лев Толстой—певец народной стихии, тщетно стараясь тащить жизнь назад, начинает отходить от жизни, начинает проповедовать непротивление злу насилием, ограничение потребностей и религиозный аскетизм. Таким образом, чем более определенный характер принимала деятельность тех общественных сил, которые укладывают новую Россию, тем более выпячивались отрицательные черты толстовства, тем более реакционную роль стало играть толстовство.

Мы знаем, что, когда в России, после поражения «Народной Воли», наступило «безвременье», толстовство с его проповедью личного совершенствования, с его отрицанием политической борьбы, с его проповедью непротивления злу насилием, стало знаменем для упадочных элементов интеллигенции, стало знаменем глубокой идейной реакции. Точно так же и после поражения революции 1905 г. видные «ликвидаторы» пытались поднять на щит толстовство.

В настоящее время мы имеем позади себя не поражение русской революции, а ее победу, и мы переживем в советской республике не период упадка, а период подъема, период интенсивного социалистического строительства. Однако и теперь толстовство может стать у нас знаменем реакции. В советской республике есть много элементов, не принявших революцию; в частности, много таких элементов есть в деревне, в крестьянстве, среди зажиточных крестьян и бедняков-подкулачников, и это находит себе, между прочим, идеологическое выражение в очень сильном распространении евангелизма и баптизма, родственных толстовству. Тов. Луначарский, в своем предисловии к «Полному собранию художественных произведений Льва Толстого», пишет:

«Он (Толстой) гениально прозревает то, что мы сейчас видим,— это колоссальное распространение евангелизма, баптизма среди передового крестьянства (разрядка наша. А. М.). И он мог видеть к концу своей жизни распространившихся духоборов,

несмотря на страшное гонение со стороны правительства. Это была настоящая мужицкая религия без попа. Это были попытки крестьянства создать свою социальную правду... Эти крестьянские секты являлись той же очищенной религией, той же реформацией, за которую взялся и Толстой».

В этих рассуждениях т. Луначарского подчеркнутые нами слова «передового крестьянства» могут только сбить с толку читателя. «Передовым крестьянством» можно еще было считать евангелистов, баптистов и прочих сектантов, и то в очень условном, очень ограниченном смысле, как это прекрасно вскрыл в свое время В. Короленко, в 70-х и 80-х годах, в пореформенную и дореволюционную эпоху, когда крестьянство стояло еще на распутье, когда часть крестьянства, разочарованного реформой и придавленного двойным гнетом остатков крепостничества и растущего кулачества, ошупью искала выхода из тупика в «очищенной религии». Теперь, когда этот выход найден, когда путь освобождения от социальных бедствий явно лежит для крестьянских масс в приобщении к социалистическому строительству, сектантство знаменует собой лишь известную форму неприятия революции под маской отхода от православной церкви, которая, благодаря своему рабскому прислуживанию царю и помещикам, уже слишком себя разоблачила, чтобы быть в состоянии и сейчас еще дурачить и отравлять умы широких масс. Не случайно, поэтому, современное русское сектантство усиленно субсидируется американскими миллиардерами. Вот это-то реакционное движение может найти для себя хорошую пищу в произведениях Толстого.

(Из сборника «О Толстом». Гиз—28 г.).

Знаменательное единомыслие в мрако-бесии.

1. Л. Толстой о науке.

«Наука—слиток золота, приготовленный шарлатаном-алхимиком. Вы хотите упростить ее, сделать понятной всему народу,— значит: начеканить множество фальшивой монеты. Когда народу станет понятна истинная ценность этой монеты—не поблагодарит он нас».

(Из записей М. Горького).

* * *

— Я не верю в прививку Пастера,—сказал Л. Н.

(Одна яснополянская крестьянка рассказывала мне, что когда ее корову искусила бешеная собака, она боялась, что заразилась от этой коровы бешенством, и решила ехать в Москву на освидетельствование врачей. Л. Н. сказал ей:

— Напрасно ты едешь. Меня бы хоть три собаки укусили, я бы не поехал). (Из записок Д. Маковицкого за 1904 г.).

* * *

Утром, когда я перевязывал Л. Н-чу палец, он сказал мне:

— *Mens sana in corpore sano*. Тут душа как-будто в зависимости от тела. Но душа в слабом теле может быть и бывает сильной. Источник всего — это душа; когда душа слаба, то здоровое тело будет обедаться и распутничать, а обратно — тело на душу влиять не может. Тут различие между христианством и язычеством.

(Из записок Д. Маковицкого за 1904 г.).

* * *

Материализм — самое мистическое из всех учений он в основу всего кладет веру в мифическую материю, все создающую, все творящую из себя. **Это еще глупее троицы!**

(Из записей А. Б. Гольденвейзера за 1896 г.).

* * *

Люди до сих пор боролись со злом и, после огромных усилий, освободили себя от влияния многих обманов. **А теперь на нашем пути стоит новый, злейший обман — обман научный.**

(Из трактата «О назначении науки и искусства». Сочинения 1903 г. XI, стр. 340--354).

* * *

Должен вам сказать, что слово «наука» для меня имеет другое значение: если научно, значит глупо.

(Из записей А. Б. Гольденвейзера за 1910 г.).

* * *

— Все современные науки исполняют совершенно обратное своему назначению: богословие скрывает нравственные истины, юридические науки всячески затемняют понятие о справедливости, естественные науки насаждают материализм, история скрывает истинную жизнь народа. Теория Дарвина совпадает с грубым рассказом Моисея. Все споры о дарвинизме это полемика с Моисеем.

— Всякий вырастающий у нас молодой человек проходит через страшное заражение, какой-то нравственный сифилис: сначала православие, а потом, когда он отрешится от этого, — материалистическое учение. Все лучшие физиологи, как Крафт-Эбинг, или Клод Бернар, прямо признают, что как бы точно ни исследовали мы даже простую клеточку, в основании ее всегда будет лежать *х*, которого мы не знаем. Следовательно, вся совокупность организмов и все социальные условия жизни являются *х* в степени *х*. А если мы не можем познать клеточку до конца, то где же нам познать законы жизни людских обществ? А какой-нибудь тупица вроде В. уверяет, что все это очень просто и что историческая наука может вывести какие-то непреложные законы, по которым совершается жизнь человеческая.

(Из записей А. Б. Гольденвейзера за 1910 г.).

* * *

Не помню—по какому поводу Л. Н. говорил:

— Дарвинизм для меня—образец глупости. Происхождение человека. Что в этом интересного?

(В. Булгаков. «А. Толстой в последний год его жизни», стр. 193).

* * *

Читаю Уоллеса о дарвинизме, сказал затем Л. Н.—какая нелепость—дарвинизм!

(Из записей Д. Маковицкого за 1905 г.).

* * *

— Те, которые говорят, что мир был создан в шесть дней, гораздо ближе к истине, чем дарвинисты, говорящие о происхождении видов, о борьбе за существование. Они по крайней мере признают, что есть нечто, чего мы познать не можем, а дарвинисты думают, что они могут своими «происхождениями видов» объяснить сущность жизни. Может быть их занятия и очень забавны и милы—в роде как мы с вами в шахматы играем—но объяснить смысл жизни они никак не могут.

(Из книги А. Б. Гольденвейзера «Вблизи Толстого», стр. 161)

2. Кем и как претворяются в дело мысли Л. Толстого о дарвинизме.

«Не часто бывает, чтобы одна какая-нибудь страна или один человек сделали целый контингент посмешищем. Но штату Теннесси и Уильяму Дженнингсу Брайану удалось сделать это в последнее время»,—так язвительно оценивает Бернард Шоу знаменитый обезьяний процесс. Современные инквизиторы недалекого ушли от средневековых—общий вывод Шоу. И, пожалуй с этим можно согласиться.

Обезьяний процесс был организован фундаменталистами. Фундаментализм—вера в религию как в основу, фундамент всей жизни, и в библию, как фундамент всей веры. Содержание фундаментализма—абсолютная вера во все то, что говорится в библии, до последней буквы, до последней запятой. На фундаменте библии построена вера, на фундаменте веры построена вся жизнь, нравственность, наука и даже американская конституция. «Библия—основание, на котором создано американское правительство, и обучение всякой теории, отрицающей библию, разрушает принципы, благодаря которым наша нация стала тем, что она сейчас есть. Если мы хотим существовать как нация дальше, то принципы, на которых основано наше правительство, не должны разрушаться, а это будет, если мы станем нацией язычников, которые заменяют веру в библию теорией эволюции».

Классовый характер фундаментализма несомненен. Фундаментализм—своеобразная отрывка рабовладельческой психологии. Поэтому фундаментализм почти неизвестен в Северных Штатах. Теория

эволюции здесь общепризнанна. Борьба фундаменталистов с эволюционистами—своеобразное возрождение войны 60-х годов прошлого столетия между севером и югом Америки.

Теория фундаментализма должна была неизбежно стать не только религиозным, но и социальным credo южных штатов. Она стала частью официальной государственной идеологии, стала сначала неписанным, а затем и писанным законом. Эволюционная теория была запрещена за свою вредность и абсурдность для общества, за то, что «из 85% студентов, вступивших в университет добрыми христианами, благодаря изучению теории эволюции большая половина становится скептиками и неверующими».

И Южные штаты предприняли решительные меры против проникновения дарвинизма в свою благословенную страну. Первым выступил Теннесси в лице Вильяма Бутлера, внесшего 21 марта 1925 г. в генеральное собрание штата проект закона о запрещении преподавания эволюционной теории. 23 марта закон был принят и утвержден губернатором штата. За Теннесси пошли и другие. В штатах Орегон, Алабама, Мичиган, Флорида, Западная Вирджиния, Джоржия, Миннесота, Кентукки, Калифорния, Оклахома, Северная Каролина—в 15 штатах на юге—закон против преподавания эволюции внесен в законодательные палаты и в той или иной степени ждет своего разрешения.

В Калифорнии в новом колледже шесть членов баптистской общины наблюдают за преподаванием, и этот комитет враждебных науке лиц запретил в школах употребление всех учебников, говорящих об эволюционной теории. Этот же комитет подал петицию о введении обязательного чтения библии в общественных школах Калифорнии.

Такова общая постановка вопроса об эволюции в Южных штатах. Но принятие закона 23 марта 1925 г. вызвало протест более интеллигентной части населения. Закон лежал без движения, и сам губернатор штата Теннесси, утверждая закон, полагал, что закон не придется применять на деле вовсе. Скопс, например, после утверждения закона в течение 2 месяцев преподавал биологию по учебнику, утвержденному в качестве официального пособия комитетов по надзору за образованием в штате, а в этом учебнике теории эволюции излагалась достаточно ясно и полно. И если бы не несколько прогрессивных граждан штата Теннесси, решивших возбудить вопрос об этом законе как о неконституционном и нарушающем свободу преподавания в штате, то, пожалуй, мы ничего не услышали бы об обезьяньем процессе.

Они хотели создать большой публичный процесс, который вскрыл бы перед всем миром давно наболевшие вопросы американского культурного быта и американского воспитания. С этой целью они предложили учителю Дайтонского колледжа Джону Скопсу прочесть лекцию об эволюции. Скопс согласился и дал согласие выступить в роли обвиняемого в будущем процессе. После этого несколько дайтонских граждан направились к судье и донесли на Скопса, что он нарушил

анти-эволюционный закон. 25 мая Скопс был арестован и обвинен перед большим жюри присяжных в том, что он обучал детей «некоторым теориям, которые отрицают историю божественного сотворения человека так, как она изложена в библии, и наоборот, учил вместо этого, что человек произошел от животных низшего порядка». Судья прочел перед «жюри обвинения» первые две главы книги «Бытия» о сотворении человека и так инструктировал жюри, что Скопс был обвинен. Немедленно прогрессивные граждане Дайтона образовали комитет для защиты Скопса и заручились согласием выдающегося чикагского адвоката Дарроу выступить на защиту Скопса. Фундаменталисты в свою очередь, пригласили на помощь известного американского государственного деятеля Уильяма Брайана, бывшего кандидатом в президенты на трех выборах и бывшего государственного секретаря во время президентства Вильсона, идеолога фундаментализма, изложившего в книгах: «Угроза дарвинизма», «Библия и ее враги» (1921 г.), «Во имя его» (1922 г.), «Должно ли христианство остаться христианством» (1924 г.)—основные принципы фундаменталистской веры. Кроме Брайана, обвинителями в процессе Скопса явились Том Стюарт, атторней-генерал (прокурор) штата Теннесси, сын Брайана, Уильям Дженнингс Брайан—младший, бывший атторней-генерал Бэн Мак-Кензи и др.

Скопс был признан виновным в нарушении законов штата Теннесси и приговорен к штрафу в сто долларов.

(Из книги Н. Полетики «Обезьяний процесс в Америке». 1926 г.).

* * *

Относительно Брайана мы у Д. Маковицкого встречаем следующую запись:

Сегодня Брайан прислал Л. Н-чу свою книгу «Under other flags», посвященную Л. Н-чу. В этой книге есть описание посещения Льва Николаевича Брайаном и две иллюстрации: на одной Л. Н. с Брайанами, отцом и сыном, на другой **Л. Н. между римским папой с правой стороны и Николаем II с левой** (Брайан, когда писал эту книгу, считал русского царя самым сильным монархом в Европе). Когда за обедом П. И. Бирюков рассказал Л. Н-чу об этой иллюстрации, Л. Н., улыбаясь, сказал:

— Да, я протестую против этой кампании.

Л. Н. поручил Марие Л-не написать Кросби и в этом письме, между прочим, поблагодарить Брайана за книгу.

Ю. И. Игумнова рассказала, что Брайан приезжал ко Л. Н-чу в декабре 1903 г. Он приехал утром, когда Л. Н. занимался, а в 12 часов должен был уехать, так как на другой день ему было назначено свидание с императором Николаем II. Л. Н. прервал свои занятия и вышел к нему. Поговорив со Л. Н-чем, Брайан решил остаться до вечера и телеграфировал в Царское Село отказ.

В вопросе о недопустимости насилия Брайан вполне сошелся со Л. Н-чем.

(«Яснополянские записки», вып. I, стр. 49).

3. Мысли Л. Толстого о женщине.

Я как-то сказал, только вы не болтайте, я скажу вам по-секрету: **женщина вообще так дурна, что разницы между хорошей и дурной женщиной почти не существует.**

(Из записей А. Б. Гольденвейзера за 1899 г.).

* * *

Вот несколько мыслей моего отца о женщинах, которые он часто высказывал:

1. Существует три типа женщин. Женщина, ставшая матерью и привязанная больше к своим детям, чем к своему мужу. Это лучший тип женщины. Та, которая является больше женой, чем матерью; эта уже среднего достоинства. Наконец, та, которая не привязывается ни к мужу, ни к детям. Этот тип является наиболее отрицательным.

2. Здоровая женщина—что дикая самка.

3. Самая интеллигентная из женщин менее интеллигентна, чем мужчина—самец.

(Из книги Л. Л. Толстого «Правда о моем отце», 1924 г., стр. 69).

* * *

Мужчина, как он ни дурен, в большинстве случаев умней. Женщина—почти всегда вопиющий протест против всякого прогресса.

(Из записей Гольденвейзера за 1910 г.).

* * *

Эмансипация женщины не на курсах и не в палатах, а в спальне.

(«Крейцера соната»)¹⁾.

* * *

Женщина порой бывает похожа на человека, так похожа, что и в самом деле за человека ее принимаешь.

* * *

А я про баб скажу правду, когда одной ногой в могиле буду, скажу, прыгну в гроб, крышкой прикроюсь—возьми-ка меня тогда!

(Из записей М. Горького).

* * *

К женщине он, на мой взгляд, относится непримиримо враждебно и любит наказывать ее, если она не Китти и не Наташа Ростова, т.-е. существо недостаточно ограниченное.

(Из «Воспоминаний» М. Горького).

¹⁾ Еще гаже, еще гнуснее, чем граф Лев Толстой,—по вопросу об эмансипации женщины высказывался в царской Госуд. Думе печально-популярный член этой думы, помещик В. М. Пуришкевич.

* *

Призвание мужчины многообразнее и шире, призвание женщины однообразнее и уже, но за то глубже, и потому всегда было и будет то, что мужчина, имеющий сотни обязанностей, изменив одной, десяти из них, остается недурным, невредным человеком, исполнившим все-таки часть своего призвания. Женщина же, имеющая малое число обязанностей, изменив одной из них, тотчас же нравственно падает ниже мужчины, изменившего десяти из сотни своих обязанностей. Таково всегда было общее мнение и таково оно всегда будет, потому что такова сущность дела.

(Из «Христианской этики» В. Булгакова, стр. 188).

* * *

Женщина,—так и говорят легенды,—орудие дьявола. Она вообще глупа, но дьявол дает ей на поддержание свой ум, когда она на него работает. Смотришь, сделала чудеса ума, дальновидности, постоянства, чтобы сделать гадости, а как только нужна не гадость, не может понять самой простой вещи, не соображает дальше настоящей минуты, и нет ни выдержки, ни терпения. (Кроме деторождения и детоухаживания). Все это относится к женщине не христианке, нецеломудренной женщине, каковы все женщины нашего христианского мира. Ох, как хотелось бы показать женщине все значение целомудренной женщины. Целомудренная женщина (легенда Марка) спасет мир».

(Из «Дневника» 4 августа 1898 г.).

* *

Женщины лишены нравственного чувства. Они не могут двинуться вследствие требования разума. У них этот парус не натянут. Они идут на веслах без руля.

(Из «Дневника» за 1897 г.—16—18 февраля).

* *

Сердишься на женщину, что она не понимает, или понимает, но не делает того, что ей говорит разум, она не может этого делать. Как магнит действует на железо и не действует на дерево, так и выводы разума для нее не обязательны—не двигательны. Для нее обязательны чувство и выводы разума только тогда, когда они передаются авторитетами, т.-е. чувством желания не отставать от других. Так что она не поверит и не последует очевидному требованию разума, если оно не подтверждено авторитетом, а поверит и последует величайшей нелепости, если только все делают. Она не может иначе. А мы сердимся. Много и мужчин есть таких—женоподобных.

(Из «Дневника» за 1897 г. 4 февраля).

* *

Женщина, которая не улучшает положения семьи, никогда не будет счастлива дома, а если не будет счастлива дома, не будет счастлива нигде.

(Из «Круга чтения». 2-ое сент.).

* * *

Хорошо кто-то сказал, что мужчинам надо искать эмансипации от женщин, а не наоборот.

(Из «Дневника» за 1897 г. 4 февраля).

* * *

Человек должен всегда, во всех обстоятельствах, женат ли он или холост, быть, по возможности, целомудренным, как это христос, а после него Павел высказал. Если он может быть настолько сдержанным, что не знает женщины вообще, то это самое лучшее, что он может сделать. Если же он не может удержаться себя, то он должен по возможности редко поддаваться этой слабости, а никак не смотреть на половое общение, как на наслаждение.

(Л. Толстой. О половом вопросе).

* * *

4. Что говорили о женщине другие мракобесы и юродивые разных эпох.

Жена да учится в безмолвии со всякою покорностью; а учить жене не позволю, ни властвовать над мужем, но быть в безмолвии.

(I Тим. 2, 11).

* * *

Когда вы увидите женщину, считайте, что перед вами не человеческое существо, а сам дьявол.

(Св. Антоний).

* * *

Женщина—первопричина гибели человечества, дверь, ведущая в ад. Она повинна во всех грехах, начиная от прегрешения Адама и кончая распятием спасителя.

(Тертуллиан).

* * *

Необходимость смерти вызвана существом женщины. Будем же гнать от себя эту чуму, эту язву, нашу гибель.

(Св. Киприан).

* * *

Женщина не сотворена по образу и подобию божью. Адам был соблазнен Евой, а не Ева Адамом. Поэтому справедливо, чтобы муж был господином жены, соблазнившей его, чтобы не впасть ему снова в грех. Закон требует, чтобы жена подчинялась мужу и была как бы служанкой его.

(Из канонического права).

* * *

Вопрос о наличии души у женщины был решен положительно церковным собором 585 г. в Маконе... большинством одного голоса.

* * *

По словам бывшего германского императора Вильгельма II — жизнь женщины должна ограничиваться пресловутыми тремя К: Kirche, Kammer, Küche (церковь, спальня, кухня).

* * *

Жена создана для мужа: ее дело заботиться о домашнем хозяйстве и воспитании детей.

(Мартин Лютер. Застольные речи).

* * *

Женщина—быстро растущая сорная трава, несовершенный человек, тело которого достигает полного развития раньше мужского только потому, что оно не имеет большой цены и природа о нем менее заботится.

(Фома Аквинский).⁷¹

* * *

Безбрачные будут сверкать на небе, как сияющие звезды, родители же их (прижившие их) будут подобны темным звездам.

(Бл. Августин ¹).

Комментарии излишни.

(Перлы толстовской морально-социальной философии)

«Если бы даже случилось то, что предсказывал Маркс, то случилось бы только то, что деспотизм переходил бы: то властвовали капиталисты, а то будут властвовать распорядители рабочих. Ошибка марксистов (и не одних их, а всей марксистской школы) в том, что они не видят того, что жизнью человечества движет рост сознания, движение религии, все более и более ясное, общее, удовлетворяющее всем вопросам жизни, а не экономическая причина. Главная недодуманность, ошибка теории Маркса в положении о том, что капиталы перейдут из рук частных лиц в руки правительства, а от правительства, представляющего народ, в руки рабочих».

(Из «Дневника.» 3 авг. 1898 г.).

* * *

Как ни странно это сказать, но нельзя не видеть того, что все горы социалистических, политических, экономических сочинений,

¹) Целесообразно сопоставить с вышеприведенными гнусностями о женщинах—некоторые мысли вождей рабочего класса: «Будущее принадлежит социализму, т.е. рабочему и женщине» (А. Бебель). «До тех пор, пока мышление женщины и все ее чувства опираются на старину и не соответствуют новым условиям, до тех пор, пока она в семье и обществе является реакционным элементом, мать не может быть «наилучшей» воспитательницей детей». (Клара Цеткин). «Каждая кухарка должна научиться управлять государством» (В. Ленин).

исполненных эрудиции и ума, в сущности суть не что иное, как только пустые, ни на что ненужные, притом еще и очень вредные писания, отвлекающие человеческую мысль от естественного и разумного пути и направляющие ее на путь искусственный, ложный и губительный...

(Из переписки Л. Толстого с В. В. Стасовым).

* * *

«Социалисты никогда не уничтожат бедность, несправедливость, неравенство способностей. Сильнейшие, умнейшие всегда будут пользоваться слабейшими, глупейшими. Справедливость и равенство благ нельзя достигнуть ничем, меньшим христианства, т.-е. отречением от себя и признанием смысла своей жизни в служении другим».

(Из «Дневника». 21 марта 1898 г.).

* * *

«Один парень сказал Льву Николаевичу, что, если не насиловать, то тебе на шею сядут. Л. Н. ответил ему: «Ну, и пускай сядут. И в этом и состоит задача, что когда он у тебя на шее сидит, а ты старайся убедить его, что это нехорошо. И высшее счастье, когда он сойдет и поблагодарит, что ты научил его. А не сойдет—что делать».

(Из записей Гольденвейзера «Вблизи Толстого» стр. 198).

* * *

«Политическая экономия, наиболее распространенная (Маркс), признавая существующий строй жизни таким, каким он должен быть, не только не требует от людей перемены этого строя, т.-е. не указывает им на то, как они должны жить, чтобы их положение улучшилось, но, напротив, требует усиления жестокости существующего порядка для того, чтобы совершились те, более чем сомнительные, предсказания о том, что должно случиться, если люди будут продолжать жить так же дурно, как живут они теперь».

(Толстой, т. XIX, стр. 239).

* * *

Л. Н. сегодня очень хорош: душевно и физически, весел и бодр. Читал книгу Массарика о социализме. Книгу очень, очень хвалил, о социализме же отзывался крайне отрицательно.

— Это очень интересно! Когда этого не знаешь и читаешь в старых летах, то так все это кажется глупо, безосновательно. **Маркс!** С самого же начала он заявляет, что религия—это уже нечто совсем ненужное, отжившее и что все основывается на экономической почве.

(Из «Дневника» В. Ф. Булгакова. 29 сентября 1910 г.).

* * *

Обратившись к сектантам, Лев Николаевич спросил, откуда они, какого толка и зачем приехали.

Старик объяснил, что для них важно узнать мнение Льва Николаевича о загробной жизни. Тут же он высказал уверенность в ее существовании.

Лев Николаевич весь просветлел, услышав это, и стал поддакивать старику.

— Ну да, есть, конечно, есть, да и не может не быть, ну а что будет с нашей душой, я не знаю, но знаю, что тот, кто жил хорошо здесь, будет также хорошо жить и там, а кто плохо жил здесь, так же и там будет жить. В чем будет это выражаться, опять повторяю, не знаю. Жизнь наша на земле есть испытание, а настоящая жизнь там.

(Из книги Б. Дунаева «Люди и людская пыль вокруг Л. Толстого», стр. 102).

* * *

... О работе. Я думаю и думал, что работа, производимая не только для удовлетворения первых потребностей жизни своих и других,—грех, но что идеал христа, как и в брачном вопросе, состоит в том, чтобы не жать, не сеять, и что работа, как добродетель, как то считается в Европе и у нас трудолюбивыми мужиками, есть величайший и злейший соблазн.

(Из письма к Е. Н. Попову).

* * *

Сознание—величайшее зло, которое только может постичь человека.

(Из «Дневника» за 1851 г.).

* * *

«Что же касается подробностей того дела, о котором вы пишете: о приготовлении прусского правительства к ограблению польских землевладельцев-крестьян, то и в этом деле мне жалко больше тех людей, которые устраивают это ограбление и будут проводить его в исполнение, чем тех, кого ограбят. Эти последние ont le beau rôle (находятся в благоприятном положении). Они и на другой земле и в других условиях останутся тем, чем они были, а жалко грабителей, жалко тех, которые принадлежат к нации, государству грабителей и чувствуют себя с ними солидарными».

(Из письма к Г. Сенкевичу по поводу притеснения прусскими помещиками польских крестьян Познани).

* * *

Все, что мы называем культурой: наши науки, искусства усовершенствования приятностей жизни,—это попытки обмануть нравственные требования человека; все, что мы называем гигиеной и медициной—это попытка обмануть естественные требования человеческой природы.

(Из «Круга чтения». 9-ое июня)

* * *

Не говорить о христе, говоря о истине человечества и о тех путях, по которым оно должно идти, все равно, что не говорить о

(Из письма Л. Толстого к В. В. Стасову от 1894 г.).

Паскаль, показывая людям, что люди без религии или животные или сумасшедшие, показывает им, что никакая наука не может заменить религию.

(Из «Круга чтения». 7-ое июля).

* *

Голос, который говорит нам, что мы бессмертны, есть голос живущего в нас бога.

(Из «Круга чтения». 22-ое сентября).

* *

Как Толстой относился к борьбе колониальных народов за освобождение.

Если бы это было так, если бы, действительно, китайский народ, потеряв терпение и вооружившись по образцу европейцев, прогнал бы от себя силою всех европейских грабителей,—чего ему очень легко достигнуть с его умом, выдержанностью, трудолюбием, и главное, с его многочисленностью,—то это было бы ужасно.

Китай сделался бы опасен для Европы в том смысле, что Китай перестал бы быть оплотом истинной, практической народной мудрости, состоящей в том, чтобы жить той мирной земледельческой жизнью, жить которой свойственно всем разумным людям и к которой рано или поздно должны сознательно вернуться оставившие эту жизнь народы».

(Из письма к китайскому писателю).

* * *

Неужели вы, сын одного из наиболее религиозных народов, с легкой верой в значение научного образования отвергнете закон любви, возведенный вашим же народом? **Вы повторяете глупости**, внушенные вам проповедниками насилия, врагами истины, рабами-сначала теологии, а **затем науки**, вашими европейскими учителями.. Вы говорите, что англичанам удалось поработить Индию, потому, что Индия недостаточно противопоставила силу насилию. Но истина заключается как раз в противоположном... Если индусы поработены, то это потому, что они сами прибегали и прибегают к насилию, не признавая свойственного человечеству вечного закона любви.

(Из письма к индийскому революционеру Дасса в 1908 г.).

II. ЛЕВ ТОЛСТОЙ И РЕВОЛЮЦИОННАЯ БОРЬБА ПРОЛЕТАРИАТА ЗА СОЦИАЛИЗМ.

В. И. ЛЕНИН.

Лев Толстой как зеркало русской революции.

Лицемерие продажных писак дореволюционной казенной и либеральной прессы.

Сопоставление имени великого художника с революцией, которую он явно не понял, от которой он явно отстранился, может показаться на первый взгляд странным и искусственным. Не называть же зеркалом того, что очевидно не отражает явления правильно? Но наша революция—явление чрезвычайно сложное: среди массы ее непосредственных совершителей и участников есть много социальных элементов, которые тоже явно не понимали происходящего, тоже отстранялись от настоящих исторических задач, поставленных перед нами ходом событий. И если перед нами действительно великий художник, то некоторые хотя бы из существенных сторон революции он должен был отразить в своих произведениях.

Легальная русская пресса, переполненная статьями, письмами и заметками по поводу юбилея 80-летия Толстого, всего меньше интересуется анализом его произведений с точки зрения характера русской революции и движущих сил ее. Вся эта пресса до тошноты переполнена лицемерием—лицемерием двоякого рода: казенным и либеральным. Первое есть грубое лицемерие продажных писак, которым вчера велено травить Л. Толстого, а сегодня—отыскивать в нем патриотизм и постараться соблюсти приличие перед Европой. Что писакам этого рода заплачено за их писания, это всем известно, и никого обмануть они не в состоянии. Гораздо более утонченно и потому гораздо более вредно и опасно лицемерное либеральное. Послушать кадетских балалайкиных из «Речи»—сочувствие их Толстому самое полное и самое горячее. На деле, рассчитанная декларация и напыщенные фразы о «великом богоискателе»—одна сплошная фальшь, ибо русский либерал ни в толстовского бога не верит, ни толстовской критике существующего строя не сочувствует. Он примазывается к популярному имени, чтобы приумножить свой политический капитал, чтобы разыграть роль вождя общенациональной оппозиции, он старается громом и треском фраз **заглушить** потребность прямого и ясного ответа на вопрос: чем вызываются кричащие противоречия «толстовщины», какие недостатки и слабости нашей революции они выражают?

Противоречия Толстого—зеркало противоречивых условий русской жизни в последнюю треть XIX в.

Противоречия в произведениях, взглядах, учениях в школе Толстого—действительно кричащие. С одной стороны, гениальный художник, давший не только несравненные картины русской жизни, но и первоклассные произведения мировой литературы. С другой стороны—помещик, юродствующий во христе. С одной стороны—замечательно сильный, непосредственный и искренний протест против общественной лжи и фальши, с другой стороны—«толстовец», т.-е. истасканный, истеричный хлюпик, называемый русским интеллигентом, который, публично бия себя в грудь, говорит: «я скверный, я гадкий, но и занимаюсь нравственным самоусовершенствованием; я не кушаю больше мяса и питаюсь теперь рисовыми котлетками». С одной стороны, беспощадная критика капиталистической эксплуатации, разоблачение правительственных насилий, комедии суда и государственного управления, вскрытие всей глубины противоречий между ростом богатства и завоеваниями цивилизации и ростом нищеты, одичалости и мучений рабочих масс; с другой стороны—юродивая проповедь «непротивления злу» насилием. С одной стороны, самый трезвый реализм, срывание всех и всяческих масок; с другой стороны—проповедь одной из самых гнусных вещей, какие только есть на свете, именно: религии, стремление поставить на место попов на казенной должности попов по нравственному убеждению, т. е. культивирование самой утонченной и потому особенно омерзительной поповщины. Поистине:

Ты и убогая, ты и обильная,

Ты и могучая, ты и бессильная—

Матушка Русь.

Что при таких противоречиях Толстой не мог абсолютно понять ни рабочего движения и его роли в борьбе за социализм, ни русской революции, это само собой очевидно. Но противоречия во взглядах и учениях Толстого не случайность, а выражение тех противоречивых условий, в которые поставлена была русская жизнь последней трети XIX века. Патриархальная деревня, вчера только освободившаяся от крепостного права, отдана была буквально на поток и разграбление капиталу и фиску. Старые устои крестьянского хозяйства и крестьянской жизни, устои, действительно державшиеся в течение веков, пошли на слом с необыкновенной быстротой. И противоречия во взглядах Толстого надо оценивать не с точки зрения современного рабочего движения и современного социализма (такая оценка, разумеется, необходима, но она недостаточна), а с точки зрения того протеста против надвигающегося капитализма, разорения и обезземеления масс, который должен был быть порожден патриархальной русской деревней. Толстой смешон, как пророк, открывший новые рецепты спасения человечества, и поэтому совсем мизерны заграничные и русские «толстовцы», пожелавшие превратить в догму как раз самую слабую сторону его учения. Толстой

велик как выразитель тех идей и тех настроений, которые сложились у миллионов русского крестьянства ко времени наступления буржуазной революции в России. Толстой оригинален, ибо совокупность его взглядов, вредных как целое, выражает как раз особенности нашей революции, как **крестьянской** буржуазной революции.

Противоречия во взглядах Толстого, с этой точки зрения,—действительное зеркало тех противоречивых условий, в которые поставлена была историческая деятельность крестьянства в нашей революции.

Толстовские идеи—зеркало слабости крестьянского восстания в революции 1905 г.

С одной стороны, века крепостного гнета и десятилетия форсированного пореформенного разорения накопили горы ненависти, злобы и отчаянной решимости. Стремление смести до основания и казенную церковь, и помещиков, и помещичье правительство, уничтожить все старые формы и распорядки землевладения, расчистить землю, создать на место полицейски-классового государства общежитие свободных и равноправных мелких крестьян,—это стремление красной нитью проходит через каждый исторический шаг крестьян в нашей революции, и несомненно, что идейное содержание писаний Толстого гораздо больше соответствует этому крестьянскому стремлению, чем отвлеченному «христианскому анархизму», как оценивают иногда «систему» его взглядов.

С другой стороны, крестьянство, стремясь к новым формам общежития, относилось очень бессознательно, патриархально, поюродивому, к тому, каково должно быть это общежитие, какой борьбой надо завоевать себе свободу, какие руководители могут быть у него в этой борьбе, как относиться к интересам крестьянской революции и буржуазия и буржуазная интеллигенция, почему необходимо насильственное свержение царской власти для уничтожения помещичьего землевладения. Вся прошлая жизнь крестьянства научила его ненавидеть барина и чиновника, но не научила и не могла научить, где искать ответа на все эти вопросы. В нашей революции меньшая часть крестьянства действительно боролась, хоть сколько-нибудь организуясь для этой цели, и совсем небольшая часть поднималась с оружием в руках на истребление своих врагов, на уничтожение царских слуг и помещичьих защитников. Большая часть крестьянства плакала и молилась, резонерствовала и мечтала, писала прошения и посылала «ходателей»,—совсем в духе Льва Николаевича Толстого. И как всегда бывает в таких случаях, толстовское воздержание от политики, толстовское отречение от политики, отсутствие интересов к ней и понимания ее, делали то, что за сознательным и революционным пролетариатом шло меньшинство, большинство же было добычей тех беспринципных, холуйских, буржуазных интеллигентов, которые под названием кадетов бегали в собрания трудовиков, в переднюю Столыпина, кланчили, торговались,

примиряли, обещали примирить,—пока их не выгнали пинком солдатского сапога. Толстовские идеи, это—зеркало слабости, недостатков нашего крестьянского восстания, отражение мягкотелости патриархальной деревни и заскорузлой трусливости «хозяйственного мужичка».

Возьмите солдатские восстания 1905—1906 годов. Социальный состав этих борцов нашей революции—промежуточный между крестьянством и пролетариатом. Последний в меньшинстве, поэтому движение в войсках не показывает даже приблизительно такой все-российской сплоченности, такой партийной сознательности, которые обнаружены пролетариатом, точно по мановению руки ставшим социал-демократическим. С другой стороны, нет ничего ошибочнее мнения, будто причиной неудачи солдатских восстаний было отсутствие руководителей из офицерства. Напротив, гигантский прогресс революции со времен Народной Воли сказался именно в том, что за ружье взялась против начальства «серая скотинка», самостоятельность которой так напугала либеральных помещиков и либеральное офицерство. Солдат был полон сочувствия крестьянскому делу; его глаза разгорались при одном упоминании о земле. Не раз власть переходила в войсках в руки солдатской массы,—но решительного использования этой власти почти не было; солдаты колебались; через несколько часов, убив какого-нибудь ненавистного начальника, они освобождали из-под ареста остальных, вступали в переговоры с властью и затем, становились под растрел, ложились под розги, впрягались снова в ярмо—совсем в духе Льва Николаевича Толстого.

Толстой отразил наболевшую ненависть, созревшее стремление к лучшему, желание избавиться от прошлого,—и незрелость мечтательности, политической новоспитанности, революционной мягкотелости. Историко-экономические условия объясняют и необходимость возникновения революционной борьбы масс, и неподготовленность их к борьбе, толстовское непротivление злу, бывшее серьезнейшей причиной поражения первой революционной кампании.

Столыпинские уроки—отрезвляющее средство от толстовщины.

Говорят, что разбитые армии хорошо учатся. Конечно, сравнение революционных классов с армиями верно только в очень ограниченном смысле. Развитие капитализма с каждым часом видоизменяет и обостряет те условия, которые толкали крестьянские миллионы, сплоченные вместе ненавистью к помещикам-крепостникам и к их правительству, на революционно-демократическую борьбу. В самом крестьянстве рост обмена, господства рынка и власти денег все более вытесняет патриархальную старину и патриархальную философскую идеологию. Но одно приобретение первых лет революции и первых поражений в массовой революционной борьбе несомненно: это смертельный удар, нанесенный прежней рыхлости и дряблости масс. Разграничительные линии стали резче. Классы и партии размежевались. Под молотом столыпинских уроков, при неуклонной

выдержанной агитации революционных социал-демократов, не только социалистический пролетариат, но и демократические массы крестьянства будут неизбежно выдвигать все более закаленных борцов, все менее способных впадать в наш исторический грех толстовщины.

(Собр. соч. т. XI, ч. I, стр. 113—118; впервые напечатано в «Пролетарии», № 35 от 11 сентября 1908 г.).

Г. В. ПЛЕХАНОВ.

Карл Маркс и Лев Толстой.

Эклектические болтуны пытаются «дополнить» Маркса Толстым.

Помните ли вы, читатель, поистине гениальную характеристику Виктора Гюго, сделанную Чернышевским в одном из его примечаний к «Рассказу о Крымской войне Кинглека»? Если нет, то вы, наверное, с удовольствием перечитаете ее. Вот она:

«До февраля 1848 года Виктор Гюго не знал, какой у него образ мыслей в политике, ему не приходилось думать об этом; а впрочем он был прекраснейший человек и отличный семьянин, добрый, честный гражданин и сочувствовал всему хорошему, в том числе славе Наполеона I и рыцарскому великодушию императора Александра I, доброму сердцу герцогини Орлеанской, матери наследника тогдашнего короля Луи-Филиппа, и несчастиям благородной герцогини Беррийской, матери соперника этому королю и этому наследнику, сочувствовал прекрасному таланту Тьера, соперника Гизо, гениально простому красноречию Гизо (едва ли не величайшего из тогдашних ораторов), честности Одилона Барро, противника Гизо и Тьера, гению и честности Араго, знаменитого астронома, главного представителя республиканцев в тогдашней палате, благородству фурьеристов, добродушию Луи Блана, великолепной диалектике Прудона, любил монархические учреждения и, кроме того, все остальное хорошее, в том числе и Спартанскую республику и Вильгельма Телля,—образ мыслей известный и заслуживающий всякого почтения уже и по одному тому, что из сотни честных, образованных людей чуть ли не 99 человек во всех странах света имеют наверно такой образ мыслей» ¹⁾.

Чернышевский написал эти блестящие строки летом 1863 года, когда сидел в Петропавловской крепости. С тех пор много времени прошло, много воды утекло и много перемен совершилось на свете. Не изменился только «заслуживающий всякого почтения образ мыслей» эклектиков. Эти добрые люди теперь, как и прежде, готовы объединить в своем сочувствии такие общественные стремления и такие способы действий, между которыми нет и не может быть ничего общего...

¹⁾ Сочинения Н. Г. Чернышевского, Спб. 1906 г., том X., ч. 2, стр. 96, 2-го отдела.

Прежде у нас «пополняли» Маркса Кантом, Махом, Бергсоном. Я предсказывал, что скоро начнут «дополнять» его Фомой Аквинским. Это мое предсказание пока еще не оправдалось ¹⁾. Но зато теперь широко практикуется попытка «дополнить» Маркса графом Толстым. А это еще более удивительно.

Как же на самом деле относится миросозерцание Маркса к миросозерцанию Толстого? Они прямо противоположны одно другому. Об этом очень не мешает напомнить.

Толстой—чистокровный метафизик.

Миросозерцание Маркса есть диалектический материализм. Наоборот, Толстой не только идеалист, но он всю жизнь свою был, по приемам мысли, самым чистокровным метафизиком ²⁾. Энгельс говорит: «Метафизик мыслит законченными, непосредственными противоположениями; речь его состоит из: «да—да, нет—нет; что сверх того, то от лукавого. Для него вещь существует: или не существует: для него предмет не может быть самим собою и в то же время чем-нибудь другим; положительное и отрицательное абсолютно исключают друг друга» ³⁾. Это именно тот способ мышления, который так характерен для гр. Толстого. Толстой был **«абсолютно-последовательным метафизиком»**. Но именно это обстоятельство было главным источником слабости Толстого, именно благодаря ему он остался в стороне от нашего освободительного движения; именно благодаря ему он мог сказать о себе,—и, конечно, с полной искренностью,—что он так же мало сочувствует реакционерам, как и революционерам. Когда человек до такой степени удаляется от «современности», то смешно и говорить об его «живой связи» с нею. И само собою понятно также, что именно «абсолютная последовательность» Толстого делала его учение «абсолютно»-противоречивым.

Почему не следует «противиться злу насилеи»? Потому,—отвечает Толстой,—что «нельзя огнем тушить огонь, водою сушить воду, злом уничтожать зло» ⁴⁾. Это—именно та «абсолютная последовательность», которая характеризует собой метафизический способ мышления. Только у метафизика могут приобретать абсолютное значение такие относительные понятия, как зло и добро. В нашей

¹⁾ Оно блестяще оправдалось в наши годы. Ныне на западе, особенно в Германии, не мало «социалистов» (Макс Шелер и др.), пытающихся примирить социализм с католицизмом. (Р е д.).

²⁾ Прошу заметить, что я говорю о приемах его мысли, а не о приемах его творчества. Приемы его творчества были совершенно чужды указанного недостатка, и он сам смеялся над ним, встречая его у других художников.

³⁾ «Развитие научного социализма» Ф р. Э н г е л ь с а. Женева, 1906 г., стр. 17.

⁴⁾ «Спелые Колосья». Сборник мыслей и афоризмов, извлеченных из частной переписки Л. Н. Толстого. Составил с разрешения автора Д. Кудрявцев. Женева. 1896 г. стр., 318. К этой книге приложено письмо гр. Толстого к Кудрявцеву, показывающее, что Толстой не встретил в ней ничего противоречащего его взглядам.

литературе. Чернышевский давно уже выяснил, вслед за Гегелем, что «в действительности все зависит от обстоятельств, от условий места и времени», и что «прежние общие фразы, которыми судили о добре и зле, не рассматривая обстоятельств и причин, по которым возникло данное явление, что эти общие, отвлеченные изречения не удовлетворительны: каждый предмет, каждое явление имеет свое собственное значение и судить о нем должно по соображению той обстановки, среди которой оно существует» ¹⁾.

Но «абсолютно-последовательный» граф Толстой никогда не хотел да и не мог судить об общественных явлениях «по соображению той обстановки, среди которой они существуют». Поэтому он в своей проповеди никогда не мог пойти дальше неудовлетворительных «общих отвлеченных изречений». Если в этих «общих, отвлеченных изречениях» многие «честные» и «образованные» господа видят теперь какую-то «силу», то это свидетельствует лишь об их собственной слабости.

Взгляды революционера Чернышевского на насилие — прямая противоположность «отвлеченным изречениям» Толстого о непротивлении.

Чернышевский прямо ставит, между прочим, и вопрос о насилии. Он спрашивает: «пагубна или благотворна война?». «Вообще,— говорит он,— нельзя отвечать на это решительным образом; надобно знать, о какой войне идет дело, все зависит от обстоятельств, времени и места. Для диких народов вред войны менее чувствителен, польза ощутительнее; для образованных народов война приносит обыкновенно менее пользы и более вреда. Но, например, война 1812 года была спасительная для русского народа; марафонская битва была благодетельнейшим событием в истории человечества» ¹⁾. Если бы не цензура, то Чернышевский нашел бы, конечно, и другие примеры. Он сказал бы, что бывают случаи, когда внутренняя война, т. е. революционное движение, направленное против устарелого перядка вещей, является благодетельнейшим событием в истории народа, несмотря на то, что **революционеру по необходимости приходится противопоставлять силу насилию охранителей.** Но те диалектические соображения, которыми Чернышевский подкреплял свою мысль, навсегда остались недоступными для «абсолютно-последовательного» Толстого, и только поэтому он мог ставить наших революционеров на одну доску с нашими охранителями.

Больше того. Охранители должны были представляться ему менее вредными, чем революционеры. В 1887 году он писал: Вспомним Россию за последние 20 лет. Сколько истинного желания добра, готовности к жертвам потрачено нашей молодой интеллигенцией на то, чтобы установить правду, чтобы сделать добро людям. И что же сделано? Ничего. Хуже чем ничего. Погубили страшные душев-

¹⁾ Н. Г. Чернышевский. Сочинения, т. IV, стр. 187 и 188, примечание.

ные силы. Коля переломали и землю убили плотнее, чем прежде была, так что и заступ не берет» ¹⁾. Если, впоследствии, он, может быть, уже не считал революционеров более вредными, чем охранителей, то он все-таки не видел в их действиях ничего, кроме ужасных злодейств и глупости ²⁾. И это, опять-таки, было абсолютно-последовательно». Его учение о «непротивлении злу насилием» лучшего всего поясняется следующим его рассуждением:

Если мать сечет своего ребенка, то что мне больно и что я считаю злом? То ли, что ребенку больно, или то, что мать, вместо радости любви, испытывает муки злости?

«И я думаю, что зло в том и в другом.

«Один человек не может делать ничего злого. Зло есть разобщение людей. И потому, если я хочу действовать, то могу только с целью уничтожить разобщение и восстановить общение между матерью и ребенком.

«Как же мне поступать? Насиловать мать?

«Я не уничтожу ее разобщения (греха) с ребенком, а только внесу новый грех, разобщение со мною.

«Что же делать?

«Одно—поставить себя вместо ребенка,—это не будет неразумно» ³⁾.

Метафизическое непротивленство Толстого—жалкий тупик.

Такой способ борьбы со злом мог бы оказаться действительным только при одном условии: если бы злая мать до такой степени удивилась, увидя постороннего и взрослого человека, лежащего рядом с ее ребенком, что выронила бы из рук розгу? При отсутствии же этого условия, он не только не устранил бы «разобщения (греха)» матери с ребенком, но и привел бы к «новому греху», к ее разобщению со мною: мать могла бы, например, встретить «мой» самоотверженный поступок презрительной насмешкой и, не обращая на него затем уже ни малейшего внимания, продолжать свое жестокое занятие. Именно это и случилось, когда Толстой выступил со своим «Не могу молчать!».

Он говорил так: «Затем я и пишу это, буду всеми силами распространять то, что пишу и в России, и вне ее, чтобы одно из двух: или кончились эти нечеловеческие дела, или уничтожилась бы моя связь с этими делами, чтобы или посадили меня в тюрьму, где бы я ясно осознал, что не для меня уже делаются все эти ужасы, или же, что было бы лучше всего (так хорошо, что я и не смею мечтать о таком счастье), надели на меня так же, как и на тех двадцать или двенадцать крестьян, саван и так же столкнули со скамейки, чтобы я своей тяжестью затянул на своем старом горле намыленную петлю» ⁴⁾.

¹⁾ «Спелые Колосья» стр. 218.

²⁾ «Не могу молчать!», Берлин, изд. Ладыжникова, стр. 26 и следующие.

³⁾ «Спелые Колосья», стр. 210.

⁴⁾ «Не могу молчать!», стр. 40—41.

Предлагая надеть на него намыленную петлю и столкнуть его со скамейки, гр. Толстой лишь снова повторял ту свою мысль, что когда мать засекает своего ребенка, то мы,—не имея нравственного права вырвать его у нее,—можем только положить себя на его место. Из этой мысли на практике вышло именно то, что, как я сказал, должно было выйти: палачи продолжали свое дело, точно и не слыхали просьбы Толстого: «повесьте меня с ними». Правда, написанная великим художником яркая картина совершаемых палачами жестокостей возбудила против правительства общественное мнение и тем несколько увеличила шансы нового под'ема у нас революционного движения. Но, при своем отрицательном взгляде на это движение, «абсолютно-последовательный» Толстой не мог хотеть этого побочного результата.

Наоборот, он боялся его. Это видно из его последней статьи о смертной казни, написанной 29 октября в Оптиной пустыни и озаглавленной «Действительное средство». Он доказывает в ней, что «в наше время для действительной борьбы с казнью нужны не проламывания раскрытых дверей, не выражения негодования против безнравственности, жестокости и бессмысленности казни. Всякий искренний, мыслящий человек, кроме того, еще знающий с детства шестую заповедь, не нуждается в раз'яснениях бессмысленности и безнравственности казни. Не нужны также описания ужасов самого совершения казней». Обыкновенно чуждый точки зрения практической целесообразности, гр. Толстой переходит здесь на нее, доказывая, что описание ужасов смертной казни приносит вред тем, что уменьшает число кандидатов в палачи, вследствие чего правительству дороже приходится оплачивать их услуги! Поэтому единственное позволительное и действительное средство борьбы со смертной казнью состоит в том, «чтобы внушить всем людям, в особенности распорядителям палачей и одобрителям их» правильные понятия о человеке и об его отношении к окружающему его миру. Теперь выходит, стало быть, что нам уже нет нужды представлять наше грешное тело в распоряжение взбешенной матери, засекающей своего ребенка: достаточно ознакомить ее с религиозным учением гр. Толстого.

Вряд ли нужно еще доказывать, что подобная «абсолютная последовательность» решительно устраняет всякую возможность «живой связи» с «современностью».

Позиция Толстого в вопросе о насилии помогает палачам трудящихся масс.

Гр. Толстому в голову не приходило спросить себя, не обуславливается ли власть истязующего над истязуемым и казнящего над казнимым какими-нибудь общественными отношениями, для устранения которых можно и должно было бы воспользоваться насилием. Он не признавал зависимости внешнего мира людей от внешних условий. Это опять происходило от того, что он был «абсолютно

последователен» в своем метафизическом идеализме. И только благодаря своей крайней последовательности метафизика, он мог думать, что для выхода России из ее нынешнего тяжелого положения есть только одно «действительное средство»: обращение нынешних ее угнетателей на путь истины.

Говорят, что уже в ранних произведениях Толстого очень нередко встречаются зародыши тех мыслей, из совокупности которых составилось впоследствии его нравственно-религиозное учение. Это справедливо. И к этому надо прибавить, что уже в ранних произведениях гр. Толстого встречаются сцены, чрезвычайно ярко характеризующие тот способ «борьбы» со злом, который практиковался им в последнее тридцатилетие его жизни. Вот одна из них, быть может, самая замечательная. В «Юности» (в главе «Дмитрий») описывается «насилие», вызванное вопросом о том, где ляжет Иртеньев, оставшийся ночевать на даче у Нехлюдова.

«Постель мне была еще не постлана, и мальчик, слуга Дмитрия, пришел спросить его, где я буду спать.

— Убирайся к черту!—крикнул Дмитрий, топнув ногой,— Васька! Васька! Васька!—закричал он, только что мальчик вышел, с каждым разом возвышая голос.—Васька, стели мне на полу.

«— Нет, лучше я лягу на полу,—сказал я.

«— Ну, все равно, стели где нибудь,—тем же сердитым тоном продолжал Дмитрий,—Васька! что ж ты не стелешь?

«Но Васька, видимо, не понимал, чего от него требовали и стоял, не двигаясь.

«— Ну, что ж ты? Стели, стели! Васька! Васька!—закричал Дмитрий, входя вдруг в какое-то бешенство.

«Но Васька все еще не понимал и, оробев, не шевелился.

«— Так ты поклялся меня погуб... взбесить.

«И Дмитрий, вскочив со стула и подбежав к мальчику, из всех сил несколько раз ударил по голове кулаком Ваську, который стремглав убежал из комнаты. Остановившись у двери, Дмитрий оглянулся на меня, и выражение бешенства и жестокости, которое за секунду было на его лице, заменилось таким кротким, пристыженным и любящим и детским выражением, что мне стало жалко его, и, как ни хотелось отвернуться, я не решился это сделать». После этого Дмитрий стал горячо и долго молиться, а по окончании молитвы между друзьями произошел такой разговор:

«— А отчего ты мне не скажешь,—сказал он (Дмитрий. Г. П.),— что я гадко поступил? Ведь ты об этом сейчас думал?

«— Да,—отвечал я,—хотя и думал о другом, но мне показалось, что действительно я об этом думал,—да, это очень нехорошо, я даже и не ожидал от тебя этого.

— Ну, что зубы твои?—прибавил я.

«— Прости. Ах, Николенька, мой друг,—заговорил Дмитрий так ласково, что слезы, казалось, стояли в его блестящих глазах,—я знаю и чувствую, как я дурен, и бог видит, как я желаю и прошу

его, чтоб он сделал меня лучше, но что же мне делать, ежели у меня такой несчастный, отвратительный характер? что же мне делать? Я стараюсь удерживаться, исправляться, но ведь это невозможно вдруг и невозможно одному. Надо, чтобы кто-нибудь поддерживал, помогал мне.

По поводу этой замечательной сцены еще Писарев сделал несколько весьма остроумных отзывов в статье «Промахи незрелой мысли». Он писал:

«Иртеньев, повидимому, так мало поражен избиением Васьки, что в самую минуту этого события все его внимание обращено исключительно на игру лицевых мускулов в физиономии Нехлюдова. Замечая в этих мускулах быстрое передвижение, вследствие которого скотское выражение бешенства переходит в гримасу раскаяния, Иртеньев совершенно забывает об участии Васьки, у которого в это время, по всей вероятности, лицевые мускулы тоже находятся в сильном движении и у которого, кроме того, созревают на черепе синяки и кровавые шишки, Иртеньев начинает соболезновать не о том, кого избili, а о том,—кто бил».

Статья «Действительное средство», представляющая собою как бы политическое завещание графа Толстого, заставила меня вспомнить как о трогательном разговоре Иртеньева с Нехлюдовым, так и об остроумных замечаниях, сделанных по его поводу одним из самых выдающихся представителей 60-х г.г. Что бы ни толковали об его индивидуализме, несомненно одно: Писарев целиком стоял на стороне того, кого били, а не того, кто бил. О Толстом же, которого совершенно не коснулось движение 60-х г.г., этого сказать нельзя. Разумеется, было бы несправедливо утверждать, что он не сочувствовал избиваемым. У нас нет никакого основания не верить ему, когда он говорит, что ему одинаково жаль и ребенка, которого истязует мать, и мать, которая испытывает муки злобы. Но если перед нами один человек душил другого, и если вы «одинаково» сочувствуете им обоим, то вы тем самым показываете, что на самом деле вы, незаметно для себя, более сочувствуете душителю, нежели душимому. А если вы при этом, обращаясь к окружающим, говорите, что было бы безнравственно защищать душимого насилием, и что единственное позволительное и «действительное средство» состоит в нравственном исправлении душителя, то вы еще более переходите на сторону этого последнего.

Заметьте, кроме того, как изображается Толстым состояние действующих лиц в примере матери, засекающей ребенка: этому последнему «больно» (физически), а мать озлоблена, т.-е. терпит **«нравственный вред»**. Но физические страдания и лишения людей всегда очень мало занимали Толстого, интересовавшегося исключительно их нравственностью. Поэтому для него было совершенно естественно свести весь вопрос к тому, какое зло мы причинили бы матери, отнимая у нее ребенка. Он не спрашивает себя, как отразится на нравственном состоянии ребенка испытываемая им физическая боль. Совершенно так же Иртеньев, сосредоточивши

свое внимание на нравственном состоянии благородного Нехлюдова, позабыл о нравственном состоянии избитого Васьки.

Последняя статья Толстого против смертной казни является словом в защиту палачей. Если бы враги существующего политического порядка захотели послушаться доброго совета, данного им в этой статье, то им пришлось бы ограничить свою деятельность уверением правительства, что вешать «очень не хорошо» и что они от него «даже и не ожидали этого». Отсюда, в самом лучшем случае, могло бы произойти только то, что правительство П. А. Столыпина ответило бы: «Я знаю и чувствую, как я поступаю дурно, и бог видит, как я желаю и прошу его, чтоб он сделал меня лучше; но что же мне делать, ежели у меня такой несчастный, отвратительный характер?.. Я стараюсь удерживаться, исправляться; но это невозможно вдруг и невозможно одному. Надо, чтобы кто-нибудь поддерживал, помогал мне».

Легко понять, что положение России, угнетаемой и разоряемой правительством г. Столыпина, так же мало изменилось бы от этого к лучшему, как мало изменилось состояние избитой головы Васьки от того, что Иртеньев вступил в чувствительное объяснение с Нехлюдовым.

Толстой всегда оставался объективно с эксплуататорами и угнетателями.

Нравственная проповедь гр. Л. Толстого вела к тому, что— поскольку он занимался ею,—он сам, того не желая и не замечая, переходил на сторону угнетателей народа. В своем известном обращении «К царю и его помощникам» он говорил:—«Обращаемся ко всем вам—к царю, членам Государственного Совета, к сенаторам, министрам, ко всем лицам, близким к царю, ко всем лицам, имеющим власть помогать успокоению общества и избавить его от страданий и преступлений,—обращаемся к вам не как к людям другого лагеря, а как к невольным единомышленникам, сотоварищам нашим и братьям» ¹⁾. Это была правда, всей глубины которой не подозревал сам гр. Толстой, как не подозревают ее «честные, образованные» люди, предающиеся теперь настоящей оргии сентиментальности. **Гр. Толстой был не только сыном нашей аристократии, он долго был ее идеологом, правда, не во всех отношениях** ²⁾. В его гениальных романах наш дворянский быт изображается, хоть и без ложной идеализации, но все-таки со своей лучшей стороны. **Отвратительная сторона этого быта,—эксплуатация крестьян помещиками,—как бы не существовала для Толстого** ³⁾. В этом сказался

¹⁾ «Отклики гр. Л. Н. Толстого на злобу дня в России». Берлин. 1901 г., стр. 13.

²⁾ Следует помнить, что он принадлежал к семье очень родовитой, но совсем не чиновной.

³⁾ Иртеньев говорит у него («Юность», глава XXXI. «Мое любимое и главное подразделение людей в то время, о котором я пишу, было на людей *comme il faut* и на *comme il ne faut pas*. Второй род подразделялся еще на

весьма своеобразный, но в то же время непобедимый консерватизм нашего великого художника. А этот консерватизм, в свою очередь, обусловил собою то обстоятельство, что даже тогда, когда Толстой обратил, наконец, свое внимание на отрицательную сторону дворянского быта и стал осуждать ее с точки зрения нравственности, **он все-таки продолжал заниматься эксплуататорами, а не эксплуатируемыми.** Кто не замечает этого, тот никогда не дойдет до правильного понимания его нравственности и его религии.

В «Войне и мире» Андрей Болконский говорит Безухову: «Ну, вот ты хочешь освободить крестьян. Это очень хорошо; но не для тебя (ты, я думаю, никого не засекал и не посылал в Сибирь), и еще меньше для крестьян... А нужно это для тех людей, которые гибнут нравственно, наживая себе раскаяние, подавливают это раскаяние и грубеют от того, что у них есть возможность казнить право и неправо. Вот кого мне жалко, и для кого бы я желал освободить крестьян».

Разумеется Толстой никогда не сказал бы о крестьянах, как говорит о них в том же разговоре Болконский: «Ежели их бьют, секут, посылают в Сибирь, то я думаю, что им от этого несколько не хуже». Граф Толстой понимал, что им гораздо хуже от этого. И все-таки страдающие крестьяне занимали его несравненно меньше, нежели те, которые заставляли их страдать,—т.-е. люди его собственного сословия—дворяне. Чтобы облегчить читателю его настроения, я сошлюсь на пример его собственного брата Н. Н. Толстого.

Фет рассказывает, что однажды приехавший к нему Н. Н. Толстой очень рассердился на своего крепостного кучера, вздумавшего поцеловать его руку. «С чего вдруг этот скот выдумал целовать руку?»—говорил он с раздражением в голосе,—от роду этого не было».

Фет считает нужным прибавить, что это нелестное для кучера замечание сделано было лишь после того, как тот ушел к лошадям¹⁾, и я готов признать деликатность Н. Н. Толстого. Но его деликатность отнюдь не устранила той особенности в его психологии, в силу которой он продолжал величать скотом своего кучера, даже после того, как твердо решил, что целование руки барина слугою оскорбляет человеческое достоинство. Но если слуга остается «скотом», то чье же человеческое достоинство оскорбляется тем, что он целует руку? Очевидно, достоинство деликатного барина. Таким образом, даже сознание человеческого достоинства окрашивается здесь ярким цветом сословного предрассудка. **И вот этот-то сословный предрассудок проникает собою все учение графа Л. Толстого.** Только под его влиянием он мог написать свою статью

людей собственно не *comme il faut* и простой народ». Ни один из видов этого второго рода не имел самостоятельного интереса в глазах графа-художника. Если простой народ и выступает на сцену (например, в «Войне и Мире» или в «Казаках»), то лишь для того, чтобы своей непосредственностью отметить рефлексию, раз'едающую людей *comme il faut*.

¹⁾ Лев Николаевич Толстой. Биография. Составил П. Бирюков, стр. 355.

«Действительное средство». Только привыкнув рассматривать угнетение под углом того нравственного вреда, который оно приносит угнетателям, граф Толстой мог, умирая, сказать своей стране: я не признаю за тобою никакого другого права, кроме права содействовать нравственному исправлению твоих мучителей.

Не будучи в состоянии заменить в своем поле зрения угнетателей угнетаемыми,—иначе сказать: перейти с точки зрения эксплуататоров на точку зрения эксплуатируемых,—Толстой, естественно, должен был направить свои главные усилия на то, чтобы нравственно исправить угнетателей, побудив их отказаться от повторения дурных поступков. Вот почему его нравственная проповедь приняла отрицательный характер. Он говорит: «Не сердись. Не блуди. Не клянись. Не воюй. Вот в чем для меня сущность учения Христа» ¹⁾.

Толстой — крайний индивидуалист.

Это еще не все. Проповедник, поставивший себе целью нравственное возрождение людей, испорченных своей ролью эксплуататоров, и не видящий в своем поле зрения никого, кроме таких людей, не может не сделаться индивидуалистом. Граф Толстой много распространялся о важности «единения». Но как понимал он практику «единения»? А вот как: «Будем делать то, что ведет к единению—приближаться к богу, а об единении не будем думать. Оно будет по мере нашего совершенства, нашей любви. Вы говорите: «сообща легче». Что легче? Пахать, косить, сваи бить,—да, легче, но приближаться к богу можно только по-одиночке» ²⁾,

Это—чистейший индивидуализм, которым объясняется, между прочим, и страх смерти, сыгравший такую огромную роль в учении Толстого. Еще Фейербах, подробно развивая мысль, мимоходом высказанную Гегелем, утверждал, что свойственный новейшему человечеству страх смерти, обуславливающий собою современное религиозное учение о бессмертии души, есть продукт индивидуализма. По словам Фейербаха, индивидуалистически настроенный субъект не имеет другого объекта, кроме самого себя, и потому чувствует непреодолимую потребность верить в свое бессмертие. В античном мире, не знавшем христианского индивидуализма, субъект имел объектом не самого себя, а то политическое целое, к которому он принадлежал: свою республику, свой город-государство. Фейербах приводит то замечание блаженного Августина, по которому слава Рима заменяла римлянам бессмертие. Граф Толстой также мало способен был упиваться двусмысленной «славой» государства российского, как и эксплуататорскими подвигами благородного русского дворянства. В этом сказалось влияние на него передовых идей его времени. Но он не способен был и перейти на сторону массы, эксплуатируемой дворянским государством. Фейербах сказал бы, что

¹⁾ «Спелые Колосья», стр. 216.

²⁾ «Спелые Колосья», стр. 75.

ему оставалось иметь «объектом» самого себя, жаждать личного бессмертия. Граф Толстой усердно доказывал, что смерть вовсе не страшна. Но он делал это единственно потому, что нестерпимо боялся ее. Читатели «Социал-Демократа» понимают и без моих разъяснений, что практика «единения» представляется сознательному пролетариату совершенно в другом виде, чем представлялась она Толстому. И если некоторые идеологи рабочего класса называют теперь Толстого «учителем жизни», то они очень заблуждаются: пролетариату совершенно невозможно «учиться жизни» у графа Толстого.

Учение Толстого—полная противоположность учению Маркса.

Кстати о заблуждении. Граф Толстой, часто утверждавший, что у него нет ничего общего с социалистами, насколько я знаю, ни разу не постарался точно и ясно определить свое отношение к научному социализму Маркса. Оно и понятно: этот социализм был ему мало известен. Однако, в книге «Спелые колосья» есть строки, в которых, вероятно, без ведома гр. Толстого, как нельзя яснее обнаруживается полная противоположность его учения с учением Маркса. Толстой пишет там:

«Главное заблуждение людей то, что каждому отдельно кажется, что руководитель его жизни есть стремление к наслаждению и отвращение от страданий. И человек, один, без руководства, отдается этому руководителю: ищет наслаждений и избегает страдания, и в этом полагает цель и смысл жизни. Но человек никогда не может жить, наслаждаясь, и не может избегать страданий. Стало быть, не в этом цель жизни.—А если бы была в том, то—что за нелепость. Цель—наслаждения, а их нет и не может быть. А если бы они и были,—конец жизни—смерть, всегда сопряженная со страданиями.—Если бы моряки решили, что цель их миновать подвѣма волн, куда бы они заехали?—Цель жизни вне наслаждений» ¹⁾.

В этих строках хорошо виден христиански-аскетический характер толстовского учения о нравственности. Если бы я захотел найти поэтическую иллюстрацию для этого учения, то я обратился бы к известному духовному стиху «О вознесении христовом». В нем рассказывается, как нищая братия прощалась с собравшимся вознестись на небо Иисусом и как присутствовавший при этом Иоанн Златоуст говорил ему:

Не давай нищим гору крутую,
Что крутую гору, золотую:
Не сумеь горою владати,
Не сумеь им золотые поверстати,
И промежду собою разделяти:
Зазнают гору князи и бояре,
Зазнают гору пастыри и власти,

¹⁾ Там же, стр. 58.

Зазнают гору торговые люди,
Отоймут у них гору золотую...

Дай же ты нищим убогим
Имя твое святое.
Будут нищие по миру ходити,
Тебя христа величати,
В каждый час прославляти..

Толстой хотел бы дать людям именно то, чего просит для нищих Иоанн Златоуст у христа. Больше ему ничего не нужно. Его учение есть пессимизм на религиозной подкладке, или—если вы предпочитаете выразиться так,—религия на основе крайне пессимистического мироощущения. С этой стороны оно, как и со всех других, представляет собою прямую противоположность учению Маркса.

Подобно другим материалистам, Маркс был, как нельзя более, далек от той мысли, что «цель жизни вне наслаждений». Уже в книге «Die Heilige Familie» он показал связь социализма (и коммунизма) с материализмом вообще и, в частности, с материалистическим учением о «нравственной правомерности наслаждения». Но у него, как и у большинства материалистов, учение это никогда не имело того эгоистического вида, в каком оно представлялось идеалисту Толстому. Напротив, оно явилось у него одним из доводов в пользу социалистических требований.

«Если человек черпает все свои ощущения, знания и т. д. из внешнего мира и из опыта, приобретаемого от этого мира, то надо, стало быть, так устроить окружающий его мир, чтобы человек получал из этого мира достойные его впечатления, чтобы он привык к истинно человеческим отношениям, чтобы он чувствовал себя человеком. Если правильно понятый личный интерес есть основа всякой нравственности, то надо, стало быть, позаботиться о том, чтобы интересы отдельного человека совпадали с интересами человечества. Если человек не свободен в материалистическом смысле этого слова, т. е. если его свобода заключается не в отрицательной способности избегать тех или иных поступков, а в положительной возможности проявления своих личных свойств, то надо, стало быть, не карать отдельных лиц за их преступления а уничтожить противообщественные источники преступлений и отвести в обществе свободное место для деятельности каждого отдельного человека. Если человеческий характер создается обстоятельствами, то надо, стало быть, сделать эти обстоятельства достойными человека» ¹⁾.

Вот научная основа **нашего** учения о нравственности. Кто сознательно сочувствует ему, тот не может не возмущаться до глубины души теми эклектиками, которые приглашают теперь пролетариат преклониться перед величием нравственной проповеди Толстого.

¹⁾ См. приложение I (Карл Маркс о французском материализме XVIII в.) к брошюре Фр. Энгельса «Людвиг Фейербах» в моем переводе. Женева, 1905 г., стр. 63.

Революционный пролетариат должен отнестись к этой проповеди со строгим осуждением.

Прямо противоположен Марксу Толстой и в своем отношении к религии. Маркс назвал религию тем опиумом, которым высшие классы стараются усыпить народное сознание, и говорил, что уничтожение религии, как мнимого счастья народа, есть требование его действительного счастья. Энгельс писал: **«Мы раз навсегда об'являем войну религии и религиозным представлениям»**. А Толстой считает религию первым условием действительного счастья людей.

Чем религиознее было миросозерцание графа Л. Толстого, тем менее совместимо было оно с миросозерцанием социалистического пролетариата.

В чем заключается некоторое положительное значение толстовской проповеди?

Значение толстовской проповеди заключалось не в ее нравственной и не в ее религиозной стороне. Оно заключалось в ярком изображении той эксплуатации народа, без которой не могут существовать высшие классы. Эксплуатация эта рассматривается Толстым с точки зрения того нравственного зла, которое она причиняла своим эксплуататорам. Но это не мешало ему изображать ее со своим обычным, т. е. гигантским, талантом.

Что хорошего в книге «Царство божие внутри нас»? То место, где описывается истязание крестьян губернатором. С чем можно согласиться в брошюре «Какова моя жизнь?». Едва ли не только с тем, что говорится в ней о тесной связи даже самых невинных развлечений господствующего класса с эксплуатацией народа. Чем трогает читателя статья «Не могу молчать!»? Художественным описанием казни двенадцати крестьян. Как и все «абсолютно-последовательные» христиане, Толстой—крайне плохой гражданин. Но когда этот крайне плохой гражданин начинает, со свойственной ему силой, анализировать душевные движения представителей и защитников существующего порядка; когда он разоблачает все вольное или невольное лицемерие их беспрестанных ссылок на общественное благо,—тогда на его счет приходится занести огромную гражданскую заслугу. Он проповедует непротивление злу насилием, а те его страницы, которые подобны только что указанным мною, будят в душе читателя святое стремление выставить против реакционного насилия революционную силу. Он советует ограничиваться **оружием критики**, а эти его превосходные страницы безусловно оправдывают самую резкую **критику посредством оружия**. ¹⁾ Вот что—и только это—дорого в проповеди гр. Л. Толстого.

¹⁾ В драме Лассалы: «Франц фон-Зикинген» Ульрих фон-Гуттен говорит каплану Экалпадиусу: «Напрасно вы так плохо думаете о мече!.. Мечом изгнан из Рима Тарквиний, мечом удален из Эллады Ксеркс, спасены наука и искусство, мечом сражались Давид, Самсон и Гедеон. Мечом было совершено все великое из истории, и в конце-концов, ему же будет она обязана всеми

За что буржуазия «преклоняется перед Толстым?

Но указанные превосходные страницы составляют лишь малую часть того, что было им написано в последние 30 лет. Все остальное,—поскольку это остальное пропитано его нравственно-религиозной тенденцией,—идет вразрез со всеми прогрессивными стремлениями нашего века; **все остальное принадлежит к области идеологии, совершенно несовместимой с идеологией пролетариата.**

Но замечательное дело! Именно потому, что все остальное принадлежит к области идеологии, совершенно несовместимой с идеологией сознательного пролетариата,—именно поэтому,—идеологии высших классов имели нравственную возможность «преклониться» перед проповедью гр. Л. Толстого. Правда, она клеймила их недостатки. Но тут еще нет очень большой беды. Ведь многие христианские проповедники тоже клеймили недостатки высших классов, однако, это не мешает христианству оставаться религией современного классового общества. Главное—то, что Толстой советует не противиться злу насилием. Если французская палата депутатов «преклонилась» перед Толстым, чуть ли не в тот же самый день, когда она «преклонилась» перед Брианом за его энергичную расправу со стачечниками, то это произошло по той простой причине, что толстовская проповедь совсем не пугает эксплуататоров. У них нет никакого основания бояться ее, и, напротив, есть все основания одобрять ее за то, что она доставляет им приятный случай, ничем серьезным не рискуя, «преклониться» перед нею и тем показать себя с хорошей стороны. Разумеется, буржуазия ни за что не «преклонилась» бы перед проповедником вроде Толстого в такое время, когда она сама настроена была на революционный лад. Тогда такого проповедника заменяли бы ее идеологи. Но теперь обстоятельства переменились, теперь буржуазия идет назад, и теперь ее сочувствие наперед обеспечено всякому умственному течению, пропитанному духом консерватизма, а тем более такому, вся практическая сущность которого состоит в «непротивлении злу насилием». Буржуазия (а с нею, конечно, и обуржуазившаяся аристократия наших дней) понимает или, по крайней мере, подозревает, что главное зло настоящего времени и есть эксплуатация ею пролетариата. Как же не «преклоняться» ей перед теми людьми, которые твердят: «Никогда не противьтесь злу насилием»? Если бы крыловского кота, похитившего куренка, спросили, кого он считает лучшим «учителем жизни», он наверно, «преклонился» бы перед поваром, который, не борясь со злом насилием, ограничился известными восклицаниями:

Не стыдно ль стен тебе, не только, что людей!!!,

Кот Васька плут, кот Васька вор... и т. д.

Некоторые последователи Толстого мнят себя крайними революционерами на том весьма шатком основании, что отказываются

великими событиями, которые когда-либо в ней совершаются! (III Akt 3 Auftritt). Российский пролетариат согласен, конечно, с Ульрихом фон-Гуттенем, а не с капланом (попом) Экампациусом.

от военной службы. Однако, во-первых, существующий порядок только выиграл бы в своей прочности, если бы в армии всегда поступали только те, которые готовы защищать его силой оружия; во-вторых, главный враг милитаризма есть классовое самосознание пролетариата и обусловленная им готовность противопоставить реакционному насилию революционную силу. Кто заменяет это самосознание, кто ослабляет эту готовность, тот не враг милитаризма, а друг его, хотя бы он, с упорным формализмом сектанта, всю жизнь отказывался, не боясь преследований, взять солдатское ружье в свои руки.

Что касается русского буржуазного «общества», то оно как раз теперь переживает такое настроение, которое должно было побудить его к «преклонению» перед проповедью гр. Толстого. Оно не только разуверилось в возможности противопоставить силу революционного народа насилию реакционеров, оно более или менее твердо убедилось в том, что подобное противопоставление не в его интересах. Ему хотелось бы окончить свой старый спор с абсолютизмом посредством мирного соглашения. К этому направлена тактика наиболее влиятельных из его «левых» представителей—кадетов. Нравственно-религиозная проповедь гр. Толстого является теперь, при нынешних обстоятельствах, лишь переводом на мистический язык «реалистической» политики г. Милюкова.

Социалисты обязаны беспощадно отбросить бабий толстовский костюм.

С последовательными людьми можно не согласиться, но нельзя не одобрять их логику. Люди кадетского образа мыслей, по-своему, совершенно правы в своем преклонении перед гр. Толстым. Но что сказать о тех бесчисленных «честных», «образованных» господах, которые, мня себя «левее» кадетов и питая подчас даже террористические симпатии, «шумели» по поводу «исхода» гр. Толстого из Ясной Поляны и умилялись перед мнимым величием возмутительной мысли, изложенной в статье «Действительное средство»?

Подобные эклектики всегда были жалки, и поделом Чернышевский так едко осмеял их, характеризуя Виктора Гюго. Но особенно жалки они в нынешней России, где едва-едва начинает заканчиваться период упадка, наступивший после бурных событий 1905—1907 г.г. Их умиление перед гр. Толстым напоминает собою религиозность Луначарского, Базарова и К°. Я сказал когда-то, употребив выражение Киреевского, что религиозность эта есть просто-напросто «душегрейка новейшего уныния». Совсем такой же «душегрейкой» является и восторг перед Толстым не как перед великим художником,—это вполне понятный и законный восторг,—а как перед «учителем жизни». В этом унылом костюме, годном лишь для старых баб, считают теперь нужным щеголять даже энергичные люди, принимающие участие в манифестациях. Социал-демократы должны позаботиться о том, чтобы они отказались, наконец, от его употребления.

Гейне был прав, когда говорил, что новому времени новый костюм потребен для нового дела.

Р. С. Теперь начинают сравнивать Толстого с Руссо, но такое сравнение может привести лишь к **отрицательным** выводам. Руссо был **диалектиком** (один из весьма немногих диалектиков XVIII века); Толстой до конца жизни остался метафизиком чистейшей воды (одним из самых типичных метафизиков XIX столетия). Уподоблять Толстого Руссо может только тот, кто не читал или совсем не понимал знаменитого «Discours sur l'inégalité parmi les hommes». В русской литературе диалектический характер взглядов Руссо выяснен уже лет двенадцать тому назад В. И. Засулич.

(Впервые напечатано в «Социал-Демократе» № 19—20 от 13 января 1911 г.).

Социалисты могут любить Толстого только «отсюда» и «досюда».

«Просто любят» его (с большей или меньшей степенью искренности и интенсивности) идеологи высших классов, т.-е. те которые сами готовы удовольствоваться отрицательной нравственностью и которые, не имея широких общественных интересов, стремятся наполнить свою душевную пустоту разными религиозными исканиями. А «отсюда и досюда» любят Толстого те сознательные представители трудящегося населения, которые не довольствуются отрицательной нравственностью и которые не имеют никакой нужды мучительно доискиваться смысла своей жизни, так как они давно уже «радостно» нашли его в движении к великой общественной цели.

А «откуда» и «докуда» именно любят Толстого люди этого второго разряда?

На это легко ответить. Люди этого второго разряда ценят в Толстом такого писателя, который хотя и не понял борьбы за переустройство общественных отношений, оставшись к ней совершенно равнодушным, глубоко почувствовал, однако, неудовлетворительность нынешнего общественного строя. А главное—они ценят в нем такого писателя, который воспользовался своим огромным художественным талантом для того, чтобы наглядно, хотя, правда, только эпизодически, изобразить эту неудовлетворительность.

Вот «откуда» и вот «докуда» любят Толстого действительно передовые люди нашего времени.

В. И. ЛЕНИН.

Герои оговорочки.

Беспринципность меньшевиков в оценке Л. Толстого.

Только что полученная нами десятая книжка журнала г. Потресова и К°, «Нашей Зари», дает такие поразительные образчики беззаботности, а вернее, беспринципности в оценке Льва Толстого, на которых необходимо немедленно, хотя бы и вкратце, остановиться.

Вот статья нового ратника Потресовской рати, В. Базарова. Редакция несогласна с «отдельными положениями» этой статьи, не указывая, конечно, каковы эти положения. Так ведь много удобнее для прикрытия путаницы. Что касается до нас, то мы затрудняемся указать такие положения этой статьи, которыми мог бы не возмутиться человек, хоть капельку дорожающий марксизмом. «Наша интеллигенция»,—пишет В. Базаров,—разбитая и раскисшая, обратившаяся в какую-то бесформенную умственную и нравственную слякоть, достигшая последней грани духовного разложения, единодушно признала Толстого—**всего** Толстого—своей «совестью». Это—неправда. Это—фраза. Наша интеллигенция вообще и интеллигенция «Нашей Зари», в частности, очень похожа на «раскисшую», но «никакого единодушия» в оценке Толстого она не проявила и не могла проявить, никогда **всего** Толстого правильно не оценивала и не могла оценить. И именно отсутствие единодушия прикрывается сугубо лицемерной, вполне достойной **«Нового Времени»**, ¹⁾ фразой о «совести». Базаров не борется со «слякотью», а поощряет «слякоть».

Базарову хочется напомнить о некоторых несправедливостях по отношению к Толстому, в которых повинны русские интеллигенты вообще, а мы, «радикалы разных толков», в особенности. Тут правды только то, что Базаров, Потресов и К° суть именно: «радикалы разных толков», настолько зависимые от всеобщей «слякоти», что во время самого непростительного замалчивания коренных непоследовательностей и слабостей миросозерцания Толстого,—они петушком, петушком бегут за «всеми», крича о «несправедливости» к Толстому. Они не хотят «опьянять» себя тем, особенно распространением среди нас, наркотиком, который Толстой называет «озлоблением спора»,—это как раз такие вещи, такие напевы, которые требуются обывателям, с бесконечным презрением отворачивающимся от спора из-за каких бы то ни было целиком и последовательно отстаиваемых принципов.

Толстой якобы обрел синтез, которого искал тщетно Фейербах.

«Главная сила Толстого в том состоит, что он, пройдя через все ступени типичного для современных образованных людей разложения, сумел найти синтез...».

Неправда. Именно синтез ни в философских основах своего миросозерцания, ни в своем общественно-политическом учении Толстой не сумел, вернее, не мог найти. «Толстой впервые обективировал, т.-е. создал не только для себя, но и для других **ту чисто человеческую** (курсив везде самого Базарова) религию, о которой Конт, Фейербах и другие представители современной культуры могли только субъективно мечтать» и т. д., и т. д.

Этакие речи хуже, чем обычная обывательщина. Это—принаряживание «слякоти» фальшивыми цветами, способное только ввести в

¹⁾ «Новое Время»—политический орган царской бюрократии. Этот орган погиб вместе с низвержением царской бюрократии. (Ред.).

обман людей. Более полувека тому назад Фейербах, не умея «найти синтез» в своем мирозерцании, представлявшем во многих отношениях «последнее слово» немецкой классической философии, запутался в тех «суб'ективных мечтах», отрицательное значение которых давно уже было оценено действительно передовыми «представителями современной культуры». Объявить теперь, что Толстой «впервые об'ективировал эти «суб'ективные мечтания», значит уходит в лагерь поворачивающихся вспять, значит льстит обывательщине, значит подпевать веховщине.

«Само собою разумеется, основанное Толстым движение (?) должно претерпеть глубокие перемены, если ему действительно суждено сыграть великую всемирно-историческую роль: идеализация патриархально-крестьянского быта, тяготение к натуральному хозяйству и многие другие утопические черты толстовства, которые в настоящее время выпячиваются на первый план и кажутся самым существенным,—в действительности являются как раз суб'ективными элементами, не связанными необходимой связью с основой толстовской «религии».

Итак, «суб'ективные мечты» Фейербаха Толстой «об'ективировал», а то, что Толстой отразил в своих гениальных художественных произведениях и в своем полном противоречий учении, отмеченные Базаровым экономические особенности России прошлого века, это «как раз суб'ективные элементы» в его учении. Вот что называется попасть пальцем в небо. Но и то сказать: для «интеллигенции, разбитой и раскисшей» (и т. д., как выше цитировано), нет ничего приятнее, желательнее, милее, нет ничего более потворствующего ее раскислости, чем это возвеличение «об'ективированных» Толстым «суб'ективных мечтаний» Фейербаха и это **отвлечение** внимания от тех конкретных историко-экономических и политических вопросов, которые «в настоящее время выпячивают на первый план».

Елейное блудословие.

Понятно, что Базарову особенно не нравится «резкая критика», которую вызвало учение о непротвлении злу «со стороны радикальной интеллигенции». Для Базарова «ясно», что «о пассивности и квиетизме тут говорить не приходится». Поясняя свою мысль, Базаров ссылается на известную сказку об «Иване Дураке» и предлагает читателю «представить себе, что солдат посылает на дураков не тараканский царь, а их собственный поумневший повелитель Иван, что при помощи этих солдат, набранных из самых же дураков и, следовательно, близких к ним по всему своему душевному складу, Иван хочет принудить своих подданных к выполнению каких-либо неправедных требований. Совершенно очевидно, что дуракам, почти безоружным и незнакомым с ратным строем, нечего и мечтать о физической победе над войсками Ивана. Даже при условии самого энергичного «сопротивления с насилием» дураки могут победить Ивана не физически, а только моральным воздействием, т.-е. только путем

так называемой деморализации солдат Иванова войска...». «Сопrotивление дураков с насилием достигает того же результата (но только хуже и с большими жертвами), как и сопротивление без насилия...». «Непротивление злу насилием или, общее, гармония средства и цели (!!!) отнюдь не является идеей, свойственной только внеобщественным моральным проповедникам. Идея это есть необходимая составная часть всякого цельного мирозерцания».

Так рассуждает новый ратник Потресовской рати. Разбирать его рассуждения мы здесь не можем, да, пожалуй, достаточно на первый раз просто воспроизвести из них главное и добавить три слова: это—чистейшая веховщина.

Из заключительных аккордов кантаты на тему о том, что уши выше лба не растут: «Незачем изображать нашу слабость в виде силы, в виде превосходства над «квиетизмом» и «ограниченной рассудочностью» (а над непоследовательностью рассуждений?) Толстого. Этого не следует говорить не только потому, что это противоречит истине, но и потому также, что это мешаёт нам учиться у величайшего человека нашего времени».

Так. Так. Не к чему только сердиться, господа, и потчевать смешной бравадой и бранью (как г. Потресов в №№ 8—9 «Нашей Зари»), если вас благословляют, одобряют и лобызают Изгоевы. От этих лобызаний и старым и новым ратникам Потресовский рати не очиститься.

Генеральный штаб этой рати снабдил «дипломатической» оговорочкой статью Базарова. Но немногим лучше помещенная без всяких оговорочек передовица г. Неведомского. «Вобрав в себя,—пишет сей вития современной интеллигенции,—и воплотив в законченном виде основные аспирации и стремления великой эпохи падения рабства в России, Лев Толстой оказался и чистейшим, законченнейшим воплощением общечеловеческого идеологического начала—**начала совести**».

Бум, бум, бум... Вобрав в себя и воплотив в законченном виде основные манеры декламации, свойственные либерально-буржуазной публицистике, М. Неведомский оказался и чистейшим, законченнейшим воплощением общечеловеческого идеологического начала—начала празднословия.

Не только в отношении Толстого, но и во всем прочем меньшевики—сплошная «оговорка».

Еще одно последнее сказанье:

«Все эти европейские поклонники Толстого, все эти Анатоли Франсы разных наименований, и палаты депутатов, недавно голосовавшие огромным большинством против отмены смертной казни, а теперь почтившие вставанием память великого **цельного** человека, все это царство промежуточности, половинчатости, оговорочности—какой величавой, как мощной, вылитой из единого чистого металла, фигурой стоит перед нами этот Толстой, это живое воплощение единого принципа».

Уф! Говорит красно—и все ведь это неправда. Не из единого, не из чистого и не из металла отлита фигура Толстого. И «все эти» буржуазные поклонники **как раз** не за «цельность», как раз за отступление от цельности «почтили вставанием» его память.

Одно только хорошее словечко нечаянно сболтнул г. Неведомский. Это словечко—оговорочность—так же хорошо аттестует господ из «Нашей Зари», как аттестует их вышеприведенная характеристика интеллигенции у В. Базарова. Перед нами сплошь и целиком—герои «оговорочки». Потресов оговаривается, что несогласен с махистами, хотя и защищает их. Редакция оговаривается, что несогласна с «отдельными положениями» Базарова, хотя всякому ясно, что дело тут не в отдельных положениях. Потресов оговаривается, что его оклеветал Изгоев. Мартов оговаривается, что он не вполне согласен с Потресовым и Левицким, хотя именно им служит верную политическую службу. Все они вместе оговариваются, что несогласны с Череваниным, хотя больше одобряют его **вторую** ликвидаторскую книжку, усугубляющую «дух» его детища. Череванин оговаривается, что не согласен с Масловым, Маслов оговаривается, что не согласен с Каутским.

Все они вместе согласны только в том, что они не согласны с Плехановым и что он клеветнически обвиняет их в ликвидаторстве, сам будто бы не будучи в состоянии объяснить своего теперешнего сближения с его вчерашними противниками.

«Оговорочным людям» и «раскисшим интеллигентам» должен быть дан отпор.

Нет ничего проще, чем объяснение этого сближения, непонятного для людей оговорочных. Когда у нас был локомотив, мы расходились, самым сильным образом относительно того, соответствует ли крепости сего локомотива, запасам топлива и т. д., быстрота, скажем, в 25 или в 50 верст в час. Спор об этом, как о всяком, горячо волнующем, вопросе, велся со страстью и нередко с озлоблением. Спор этот—решительно по каждому вопросу, по которому он возникал—у всех на виду, всем открыт, договорен до конца, не замазан никакими «оговорочками». И никому из нас не приходит в голову брать что-либо назад или хныкать по поводу «озлобления народа». Но когда локомотиву случилось потерпеть поломку, когда он лежит в болоте, окруженный «оговорочными», интеллигентами, подло хихикающими по поводу того, что «и ликвидировать нечего», ибо локомотива уже нет, тогда нас, вчерашних «озлобленных спорщиков», сближает одно общее дело. Ни от чего ни отрекаясь, ничего не забывая, никаких обещаний об исчезновении разногласий не делая, мы общее дело делаем вместе. Мы все внимание и все усилия направляем на то, чтобы локомотив поднять, чтобы его обновить, укрепить, усилить, поставить на рельсы,—о скорости движения и о повороте тех или иных стрелок успеем поспорить в свое время. Задача дня в наше трудовое время—создать нечто, способное дать отпор

«оговорочным» людям и «раскислым интеллигентам», поддерживающим прямо и косвенно царящую «слякоть». Задача дня—копать, хотя бы при самых тяжелых условиях, руду, добывать железо, отливать сталь марксистского мирозерцания и надстроек, сему мирозерцанию соответствующих.

(Собр. соч. т. XI, ч. II, стр. 143—147; впервые напечатано в 1910 г.).

Толстой—идеолог старой России.

... От бурной эпохи 1905 года нас отделяет менее десяти лет, а между тем перемена, которая произошла за это короткое время в России, кажется громадной. Россия как будто сразу превратилась из патриархальной в современную капиталистическую страну. Идеолог старой России, Л. Н. Толстой, выразил это в характерной и забавно-грустной тираде, жалуясь на то, что русский народ «удивительно быстро научился делать революцию и парламенты».

Разумеется «внезапное» превращение России в буржуазную страну возможно было в течение пяти или десяти лет XX века только потому, что вся вторая половина прошлого века была одним из этапов смены крепостнических порядков буржуазными...

(Из статьи «Еще одно уничтожение социализма» (т. XII, ч. II, стр. 378).

* * *

Толстому религии спускать нельзя!

... Насчет Толстого вполне разделяю Ваше мнение, что лицемеры и жулики из него святого будут делать. Плеханов тоже взбесился враньем и холопством перед Толстым и мы тут сошлись. Он ругает за это «Нашу Зарю» в Ц. [ентральном] О. [ргане] (следующий номер), я в «Мысли» (сегодня получился № 1. Поздравьте—наш журнальчик в Москве, марксистский. То-то радости сегодня у нас было). В «Звезде» № 1 (вышла в СПб. 16/XII) есть тоже хороший фельетон Плеханова с пошлым примечанием, за к[ото]рое мы уже обругали редакцию... Иорданский, вероятно, с Бончем [-Бруевичем] сочинили! Но где же «Современнику» бороться против «Легенды» о Т[олстом] и религии его]. Это—Водовозов с Лопатыным? Шутить изволите.

Что студенты начали бить, это, по моему, утешительно, а Толстому ни «пассивизма», ни анархизма, ни народничества, ни религии спускать нельзя...

(Из письма к М. Горькому, „Ленинск. сборник“ I, стр. 144).

Л. АКСЕЛЬРОД-ОРТОДОКС.

Учение Толстого и утопический социализм народников.

С особенной силой подчеркивается критикой сходство взглядов Толстого с утопическим социализмом народников 70-х годов.

Эта очень распространенная популярная ошибка основана на недостаточном изучении общего идейного направления яснополян-ского проповедника.

С точки зрения утопистов-народников, общинные устои крестьянского хозяйства должны были при помощи суб'ективного воздействия перейти непосредственно в сложную социалистическую организацию, а Толстой видел в этих же общинных устоях прежде всего прочный фундамент для сохранения элементарных хозяйственных отношений и обусловленной ими неподвижной деревенской психологии. Народники возлагали все свои надежды и упования на недовольство и революционные инстинкты крестьянской массы, а Толстому были, напротив того, дороги и ценны ее покорность, низкий уровень потребностей и христианское смирение ¹⁾. И если, наконец, положительными героями, олицетворявшими, согласно оценке народников, зреющий в крестьянстве протест и революционные силы, были Пугачев и Степан Разин, то, соответственно убеждениям Толстого, истинным выразителем народной идеологии, призванной спасти Россию, был совершенно довольный судьбой и всем окружающим, любящий всех и все, или, вернее, ко всем и всему равнодушный Платон Каратаев. ²⁾.

Эти коренные противоположности определяются основным принципиальным различием между жизнепониманием народников и идеалами Толстого.

В философском отношении революционное народничество носило пестрый эклектический характер. Разные, подчас даже диаметрально-противоположные теории отлично уживались в головах теоретиков этого течения. Кант и Маркс, Конт, Милль, Прудон, да и вообще крупные деятели западно-европейской мысли находили себе мирный приют в народнической публицистике. Несмотря, однако, на этот широкий эклектизм, явно свидетельствующий об узкой элементарности философской мысли, а вовсе не о широкой терпимости, революционное народничество отвергало принципиально и самым реши-

¹⁾ Уже в «Утре помещика» восхваляются эти добродетели.

²⁾ Вот как характеризует Толстой сверхчеловеческую любовь Платона Каратаева: «Привязанностей» дружбы, любви, как понимал их Пьер, Каратаев не имел никаких; но он любил и любовно жил со всем, с чем его сводила жизнь, и, в особенности, с человеком — не с известным каким-нибудь человеком, а с теми людьми, которые были пред его глазами. Он любил свою шавку, любил товарищей-французов, любил Пьера, который был его соседом. Но Пьер чувствовал, что Каратаев, несмотря на всю свою ласковую нежность к нему (которую он невольно отдавал дань духовной жизни Пьера), ни на минуту не огорчился бы разлукой с ним». Сочин. Часть восьмая, стр. 70. Изд. десятое.

тельным образом религию во всех ее формах и проявлениях. Так называемые религиозные ценности, составляющие сущность господствующей в теперешней философии двойственной истины, рассматривались народниками, поскольку они их мимоходом касались, как томительно скучный пережиток, способный лишь на одно: служить серьезным и внушительным препятствием по пути к истинному просвещению и развитию сознания народных масс. Твердое отрицательное отношение к религии, безбоязненный атеизм накладывали сильный отпечаток на народническую мысль.

Согласно иррелигиозному воззрению народничества, жизнь человеческая исчерпывается здешним, земным бытием. А отсюда следовало само-собой, что задачи человеческие—относительные, общественно-исторические, а не божественно-аскетические. Аскетическая этика Канта, игравшая в русской суб'ективной социологии такую важную роль, была преобразована основателями этой русской школы на своеобразный, утилитарный, революционно-социалистический лад.

Из общих с народниками утопических предпосылок Толстой делает реакционные выводы.

Но правильное иррелигиозное жизнепонимание в духе материализма и позитивизма нисколько не помешало народникам оставаться чистейшими идеалистами в философии истории и социальной политике. Идеалистическим методом мышления обуславливалось, как известно, во-первых, стремление народничества избежать для России стадии капиталистического развития; во-вторых, сплошное отрицательное отношение к западно-европейской капиталистической культуре; в-третьих, вера в возможность создания социалистического порядка на почве крестьянской общины.

Самым важным пунктом для народников был, конечно, пункт третий. Толстой же, борясь против «гнета» социалистической мысли, признавал вместе с народниками только два первых положения.

В чрезвычайно характерной статье «Прогресс и определение образования» он громит, со свойственной ему силой и резкостью, «безрассудную» и «безбожную» западно европейскую цивилизацию, усиливаясь доказать, что все приобретения культуры не заключают в себе ничего положительного, и что Россия должна и, благодаря сохранившимся в ней устоям, способна уклониться от капиталистического пути. Эти тезисы развертываются и повторяются на разные лады. Правда, Толстой становится и на реальную почву, доказывая, что все приобретения культуры, созданные трудом и потом народных масс, не только ничего не дали этим последним, но, напротив того, служат могучим орудием в руках господствующего меньшинства для более интенсивной эксплуатации большинства. Но это положение не приводит художника к логически следующему отсюда признанию необходимости социалистического устройства, а подсказывает ему абсолютное отрицание пользы и значения культурного прогресса вообще, как такового.

Одним словом, из предпосылок утопического социализма народников Толстой выводит реакционное заключение.

Этот крайне односторонний и отвлеченный ход мысли увлекает его все дальше и дальше назад до отрицания пользы книгопечатания, которое предается им анафеме на том основании, что книги, журналы и газеты не научили мужика **«ни пахать, ни делать квас, ни плесть лапти, ни срубить срубы, ни петь песни, ни даже молиться»** ¹⁾. Не имело, по его мнению, книгопечатание положительного влияния и на освобождение крестьян: «Главное же,—читаем мы там же,—что я имею сказать против такого аргумента, есть то, что, взяв в пример хотя освобождение крестьян от крепостного права, я не вижу, чтобы книгопечатание содействовало его прогрессивному разрешению. Ежели бы правительство в этом деле не сказало своего решительного слова, то книгопечатание, без сомнения, разъяснило бы дело совершенно иначе». Посредством народнических приемов критики Толстой проводил сознательно и бессознательно созревавшее в нем все более и более религиозно-христианское вероучение, занимавшее его прежде всего. Но мне могут, пожалуй, поставить на вид увлечение реакционной утопией Генри Джорджа. Отвечу, что и это увлечение не носило серьезного обязательного характера.

Свое истинное отношение к проповеди этой утопии художник высказал незадолго до своей кончины в беседе с г. Наживиным. На вопрос ученика: «Какой смысл имеет хотя бы проповедь земельной реформы Генри Джорджа или, вообще, постоянное вмешательство в «дела мирские», учитель отвечал: «Это вмешательство говорит опять-таки только **о нашей слабости**». Для истинного христианина не существует ни Генри Джорджа, ничего. Все его усилия направлены только на то, что находится в его власти, т.-е. на самого себя, и в то же время в нем живет непоколебимая уверенность, что нет более благодарного дела для мира, **как эта работа над собою** (подчеркнуто Наживиным). А Генри Джордж—**уступка, слабость**. Не убивать людей хорошо; не убивать людей и животных и паразитов—лучше; жить с женой в браке честно—хорошо, жить в браке с ней целомудренно—еще лучше; жить без жены в полном целомудрии—еще лучше. Так и тут: одни говорят, что для блага людей необходимо поставить в каждом городе виселицу; другие говорят: «нет, социалистическое устройство лучше», а мы говорим, что Генри Джордж еще лучше. Но, повторяю, это—слабость: нужен не Джордж, а единая **на потребу работа над собою**. «Все в тебе,—рассказывает там же Наживин,—любил повторять Толстой». Конечно, пережитое, страданное, продуманное в частностях и в известном смысле целостное жизнепонимание Толстого в 1910 г. отличается от совокупности его взглядов и единства общего мирозерцания, однако, тенденция, общее направление мысли оставались, по существу, те же.

¹⁾ Там же, стр. 181.

«Все в тебе»,—повторял глубокий старик, аскетический мыслитель.

«Счастье не зависит от внешних причин, а от нашего к ним отношения»,—решил четырнадцатилетний отрок Иртеньев.

«Общий вечный закон написан в душе каждого человека»,—утверждает художник в расцвете сил и полного торжества своего гениального дарования.

Общий и краткий итог разобранного нами отношения Толстого к стремлениям и господствующим передовым течениям эпохи будет гласить так: влияние народничества выразилось, во-первых, в том, что художник уделил в «своей духовной лаборатории» значительное место крестьянской массе. Во вторых, этим общим влиянием объясняется его своеобразное хождение в народ, т. е. искание в отставшей крестьянской идеологии абсолютно-метафизического смысла жизни. В-третьих, сходны, как уже это было замечено, толстовская абсолютно-отрицательная критика западно-европейской капиталистической культуры с отношением к этой последней утопистов-народников.

Исходные же точки и конечные цели у Толстого диаметрально-противоположны и принципиально-враждебны основным стремлениям и заветным идеалам революционного народничества 70-х годов всех оттенков.

(Из сборника статей «Лев Толстой», Гиз. 22 г.).

В. И. ЛЕНИН.

Л. Толстой и современное рабочее движение.

Русские рабочие почти во всех больших городах России уже откликнулись по поводу смерти Л. Н. Толстого и выразили, так или иначе, свое отношение к писателю, который дал ряд самых замечательных художественных произведений, ставящих его в число великих писателей всего мира,—к мыслителю, который с громадной силой, уверенностью, искренностью поставил целый ряд вопросов, касающихся основных черт современного политического и общественного устройства. В общем и целом это отношение выражено в напечатанной в газетах телеграмме, посланной рабочими депутатами 3-ей Думы.

Л. Толстой начал свою литературную деятельность при существовании крепостного права, но уже в такое время, когда оно явно доживало последние дни. Главная деятельность Толстого падает на тот период русской истории, который лежит между двумя поворотными пунктами ее, между 1861 и 1905 годами. В течение этого периода следы крепостного права, прямые переживания его насквозь проникали собой всю хозяйственную (особенно деревенскую) и всю политическую жизнь страны. И в то же время именно этот период был периодом усиленного роста капитализма и насаждения его сверху.

В чем сказывались переживания крепостного права? Больше всего и яснее всего в том, что в России, стране по преимуществу земледельческой, земледелие было за это время в руках разоренных, обнищавших крестьян, которые вели устарелое, первобытное хозяйство на старых крепостных наделах, урезанных в пользу помещиков: в 1861 году. А с другой стороны, земледелие было в руках помещиков, которые в центральной России обрабатывали земли трудом крестьян, крестьянской сохой, крестьянской лошадей за «отрезные земли», за покосы, за водопой и т. д. В сущности, это—старая крепостническая система хозяйства. Политический строй России за это время был тоже насквозь пропитан крепостничеством. Это видно и по государственному устройству до первых приступов к изменению его в 1905 году, и по преобладающему влиянию дворян-землевладельцев на государственные дела, и по всевластию чиновников, которые тоже были главным образом—особенно высшие—из дворян-землевладельцев.

Эта старая патриархальная Россия после 1861 года стала быстро разрушаться под влиянием мирового капитализма. Крестьяне голодали, разорялись, как никогда прежде, и бежали в города, забрасывая землю. Усиленно строились железные дороги, фабрики и заводы, благодаря «дешевому труду» разоренных крестьян. В России развивался крупный финансовый капитал, крупная торговля и промышленность.

Вот эта быстрая, тяжелая, острая ломка всех старых «устоев» старой России и отразилась в произведениях Толстого-художника, в воззрениях Толстого-мыслителя.

Толстой отразил протест крестьянства и его отчаяние в эпоху разрушения патриархальной России.

Толстой знал превосходно деревенскую Россию, быт помещика и крестьянина. Он дал в своих художественных произведениях такие изображения этого быта, которые принадлежат к лучшим произведениям мировой литературы. Острая ломка всех «старых устоев» деревенской России обострила его внимание, углубила его интерес к происходящему вокруг него, привела к перелому всего его мирозерцания. По рождению и воспитанию Толстой принадлежал к высшей помещицкой знати в России,—он порвал со всеми привычными взглядами этой среды и, в своих последних произведениях, обрушился с страстной критикой на все современные государственные, церковные, общественные, экономические порядки, основанные на порабощении масс, на нищете их, на разорении крестьян и мелких хозяев вообще, на насилиях и лицемерии, которые свеху донизу пропитывают всю современную жизнь.

Критика Толстого не нова. Он не сказал ничего такого, что не было бы задолго до него сказано и в европейской и в русской литературе теми, кто стоял на стороне трудящихся. Но своеобразие критики Толстого и ее историческое значение состоит в том, что она с такой силой, которая свойственна только гениальным художникам, выражает ломку взглядов самых широких народных масс в

России указанного периода и именно деревенской, крестьянской России. Ибо критика современных порядков у Толстого отличается от критики тех же порядков у представителей современного рабочего движения именно тем, что Толстой стоит на точке зрения патриархального, наивного крестьянина, Толстой переносит его психологию в свою критику, в свое учение. Критика Толстого потому отличается такой силой чувства, такой страстностью, убедительностью, свежестью, искренностью, бесстрашием в стремлении «дойти до корня», найти настоящую причину бедствий масс, что эта критика действительно отражает перелом во взглядах миллионов крестьян, которые только что вышли на свободу из крепостного права и увидели, что эта свобода означает новые ужасы разорения, голодной смерти, бездомной жизни среди городских «хитровцев» и т. д. Толстой отражает их настроение так верно, что сам в свое учение вносит их наивность, их отчуждение от политики, их мистицизм, желание уйти от мира, «непротивление злу», бессильные проклятья по адресу капитализма и «власти денег». Протест миллионов крестьян и их отчаяние—вот что слилось в учении Толстого.

Представители современного рабочего движения находят, что протестовать им есть против чего, но отчаиваться не в чем. Отчаяние свойственно тем классам, которые гибнут, а класс наемных рабочих неизбежно растет, развивается и крепнет во всяком капиталистическом обществе, в том числе и в России. Отчаяние свойственно тем, кто не понимает причин зла, не видит выхода, не способен бороться. Современный промышленный пролетариат к числу таких классов не принадлежит.

(«Наш Путь», № 7, 28 ноября 1910 г.).

Лев Толстой сказал незадолго до своей смерти, и сказал с характерным для худших сторон «толстовщины» сожалением, что русский народ необыкновенно быстро «научился делать революцию». Мы жалеем только о том, что русский народ не доучился этой науке, без которой он целые века может остаться рабом у Пуришкевичей. Но правда то, что русский пролетариат в своем стремлении к полному социалистическому преобразованию общества дал русскому народу вообще и русскому крестьянину в особенности незаменимые уроки в этой науке. Никакие виселицы Столыпина, никакие потуги «веховцев» не заставят забыть этих уроков. Урок дан. Урок усваивается. Урок будет повторен.

(Собр. соч., т. XI, ч. II, стр. 393).

И. КУБИКОВ.

Лев Толстой и рабочий класс.

Учение Л. Толстого с его отрицанием революционной борьбы с деспотизмом, религиозным представлением о сущности жизни, безразличием к формам государственности,—не отвечало стремлениям рабочего класса.

Но там, где Толстой образным и сильным языком обличал господствующие классы, угнетавшие народ, где он говорил о религии попов, которые помогали насильникам держаться у власти,—там он был велик и вызывал чувство восторженного к нему отношения со стороны обездоленного человечества. Этими страницами, где он, напр., разоблачал лживость православной догматики, или писал о всех мерзостях безобразного строя жизни,—Л. Толстой способствовал, независимо от своей воли, стремлению рабочих сбросить с своих плеч насильников в мундирах и рясах. Именно в этом смысле говорил Плеханов: «Никогда не следует забывать, что когда Толстой писал эти страницы, он переставал быть толстовцем. Так что пролетариат, может быть сам того не зная, уважает в Толстом не того человека, который учил жизни, а того, который отказывался от своего учения о жизни».

И, действительно, стоит только вчитаться в характер приветствий Толстому различных рабочих групп, дабы увидеть, что ценили рабочие в великом писателе.

Рабочие и служащие Брянского стеклянного завода, вскоре после отлучения Льва Толстого от церкви, шлют ему подарок—глыбу зеленого стекла, красиво отшлифованного, в виде пресспапье. На одной стороне имеется надпись, сделанная золотыми буквами. Из этой надписи ясно одно: рабочие ценят Толстого не как непротивленца, а как резкого обличителя власти. Это обличение для них—борьба. Они говорят: «Вы разделили участь многих великих людей, идущих впереди своего века, глубокочтимый Лев Николаевич. И раньше их жгли на кострах, гноили в тюрьмах и в ссылке. Пусть отлучают вас как хотят и от чего хотят фарисеи—первосвященники: Русские люди всегда будут гордиться, считая вас своим великим, дорогим и любимым»¹⁾.

В день 80-летия со дня рождения писателя, рабочие завода Эльворти, между прочим, пишут: «Бичуя ложь и насилие, срывая маски с фарисеев и мракобесов, вы подняли высоко над землей факел истины и справедливости, освещая им человечеству тернистый путь в царство всеобщего братства и счастья»²⁾.

Интересы рабочих чужды и непонятны Толстому.

Но Толстой не постигал классовых интересов рабочих, которые стремились его критику существующего строя принять, как один из элементов, подрывающих основы деспотизма. Толстой был противником городского начала в целом. Для него не было в капиталистическом строе явлений отрицательных и положительных. Все здесь являлось скверным. Мысль его вращалась в пределах исключительно земельных отношений. Сбросив с себя путы помещичьей психологии, он стремится до конца проникнуться интересами мелкого крестьянина-производителя. По очень верному определению

¹⁾ П. Бирюков. Биография Л. Н. Толстого, т. IV, стр. 32.

²⁾ Там же. Т. IV, стр. 163.

В. Ленина, «горячий протестант, страстный обличитель, великий критик обнаружил вместе с тем в своих произведениях такое непонимание причин кризиса и средств выхода из кризиса, надвигавшегося на Россию, которое свойственно только патриархальному, наивному крестьянину, а не европейски образованному писателю».

Именно в этом патриархальном крестьянине Толстой и видит элементы высокой праведности. Платон Каратаев из «Войны и мира» — в 80-е годы находит свое продолжение в дяде Акиме, который, не постигая экономических основ городской жизни, понятных бывалому Митричу, волнуясь говорит о банках и процентах, как о греховном начале. И так как современный пролетариат не похож на дядю Акима, то Л. Толстой и смотрит на него, по выражению Плеханова, как «на печальную ошибку в ходе общественного развития».

В своей большой статье «Так что же нам делать» Л. Толстой, после тридцати лет своего писательства, откровенно заявляет: «Я всю жизнь прожил не в городе. Когда я в 1881 г. переехал на житье в Москву, меня удивила городская бедность; я знаю деревенскую бедность, но городская была для меня нова и непонятна»¹⁾. **Чтобы на 53-м году своей жизни сказать, что городская бедность «нова и непонятна», надо было слишком хорошо закупориться в обстановке деревенского-помещичьего бытия.**

Это незнание рабочей жизни и — наоборот — великолепное знание жизни крестьянской — отражается и на тех писаниях Толстого, где он выступает перед нами ярким обличителем общего несправедливого строя жизни. В поистине блестящем трактате «Неужели это так надо?» Л. Толстой говорит о кричащих противоречиях бедности и богатства. Здесь писатель прекрасно пользуется известным ему приемом антитезы в художественной обрисовке жизни. Но вот что любопытно: все примеры бедности, граничащие с нищетой, взяты не из рабочей жизни, а из крестьянской. Здесь говорится о матерях, которые «рожают детей и как попало, без помощи, завертывают в тряпки, кладут в лубочные люльки на солому; о роженицах, которые после родов встают «топить печки, доить корову»; о детях, которые «увечатся, с'едаются свиньями», о бедняках спящих на земле, покрытых рваными полукафтанами: о больных, которые «ложатся в курной избе, на печку, с непромытыми ранами, и из-за отсутствия всякой пищи, кроме сухого хлеба, и воздуха, зараженного десятью членами семейства, телятами и овцами, гниют заживо и преждевременно умирают».

Во всем этом картинном изображении деревенских бедствий чувствуется горячая любовь Толстого к бедняку-крестьянину. И было бы странно за это упрекать писателя. Но мы сейчас говорим о том, что даже в статье, посвященной социальным противоречиям в мировом масштабе, нет дополнительных примеров из рабочей жизни.

¹⁾ Полное собр. соч. Л. Н. Толстого, изд. Сытина, под ред. П. Бирюкова, т. XVII стр. 13.

Самым печальным является то обстоятельство, что, признав на шестом десятке своей жизни факт своего непонимания городской «бедности», Л. Толстой и не обнаруживает особого стремления познакомиться с бытием рабочего класса. Из упомянутой нами обширной статьи «Так что же нам делать» видно, как поверхностно, участвуя в переписи московского населения, Л. Толстой знакомится с жизнью московского пролетариата. А, между тем, на основе этих незначительных наблюдений, Л. Толстой делает выводы, которые, как мы увидим, поражают своей несерьезностью.

В отношении Толстого к рабочим сказалась реакционная заскорузлость.

Прежде всего перед глазами Толстого во время обхода ряда домов был так наз. босяцкий пролетариат обоего пола. Но попадались и дома, населенные, напр., рабочими ремесленниками. В отличие от босяцких домов и ночлежек, здесь, при общении, Толстой испытывал прямо приятное чувство: «Большую часть ¹⁾ жителей мы заставляли за работой: прачек за корытами, столяров за верстаками, сапожников на своих стульях. Тесные квартиры были полны народом, и шла энергичная, веселая работа. Пахло рабочим потом, у сапожника—кожей, у столяра—стружками, слышалась часто песня, и виднелись засученные мускулистые руки, быстро и ловко делавшие привычные движения. Встречали нас везде весело и ласково; почти везде наше вторжение в обыденную жизнь этих людей не только не вызывало тех амбиций, желания показать свою важность и отобрить, которое появление счетчиков производило в большинстве квартир зажиточных людей... Вопросы наши только служили для них поводом повеселиться и подшутить о том, как кого в счет класть, кого за двоих и где двоих за одного и т. п.» ²⁾. В таких задушевных тонах описывает Толстой посещение рабочих квартир. И все же — это внешнее и чисто случайное наблюдение рабочей жизни.

А между тем, в этой статье Л. Толстой стремится уяснить причины ухода из деревень в города на заработки и причины, толкавшие на самое дно жизни часть городской бедноты. Казалось бы, что писателю надо было серьезно остановиться на причинах, выбрасывающих часть малоземельного крестьянского населения из деревень; казалось бы дальше, что Л. Толстой должен был исследовать причины «развращенности» части городского пролетариата. Стоило ему только ознакомиться хотя немного с экономикой вопроса, дабы видеть, как, напр., промышленные кризисы, увеличивая безработицу, показывают на диаграмме быстрый рост кривой в сторону увеличения преступлений и проституции.

Но вместо всего этого перед нами вдруг обнаруживается такая заскорузлость взгляда, которая говорит об остатках классовой психологии в миропонимании Толстого.

¹⁾ Полн. собр. соч. Л. Н. Толстого, т. XVII, стр. 29.

²⁾ Полн. собр. соч. Л. Н. Толстого, т. XVII, стр. 49, изд. Сытина.

Как известно, уход крестьян из деревень часто вызывал недовольство со стороны помещиков-дворян. Нуждаясь в дешевых рабочих руках для своих имений, они стремились всеми мерами удержать «избыточное» крестьянское население на месте. Вот почему они этот уход крестьян из деревень в город на заработки трактовали, как тягу к городским развращающим соблазнам жизни. И, совершенно в духе помещичьего класса, Толстой в этой статье говорит следующее: «Справедливо то, что положение крестьянина таково, что для удовлетворения требований, предъявленных к нему в деревне, ему нельзя иначе справиться, как продав тот хлеб, ту скотину, которые, он знает, ему будут необходимы, и он волей-неволей принужден идти в город, чтобы выручить там назад свой хлеб. Но справедливо и то, что сравнительно легче добываемые деньги и роскошь жизни в городе привлекают его туда, и, под видом кормиться в городе, он идет туда для того, чтобы работать легче и есть лучше, пить чай три раза, щеголять и даже пьянствовать и распутничать»¹⁾.

Это место статьи «Так что же нам делать» сделало бы честь другу Толстого, черносотенному помещику Шеншину-Фету, который прославился в эпоху 70 годов своими печально знаменитыми письмами в «Русском Вестнике». Но в устах великого писателя такая тирада производит удручающее впечатление. Видеть роскошество в том, что крестьянин, превратившись в городского рабочего, будет пить по три раза в день чай—это значит уподобиться щедринскому градоправителю Бородавкину, который возмущался тем, что смерд поливает свою кашу маслом.

Что Толстой стремился уничтожить в себе остатки классовой психологии—это несомненно. Но верно и то, что говорит Л. И. Аксельрод в своей интересной книге о Толстом: «Глубоко впечатлительная натура художника всосала в себя крупные, наиболее выделяющиеся черты окружающей его старинно-барской обстановки, искоренить которые ему не удалось, несмотря на свою поистине египетскую работу над усовершенствованием своей личности».

Интересно следующее. Стоило Толстому только немного приглядеться к городской жизни, как он увидел, что рабочий страдает от лишения и тяжести труда нисколько не меньше человека деревни. Живя по зимам, начиная с 80 годов, в Москве на окраине, среди тех фабрик, он каждое утро в 5 часов слышал «один свисток, другой, третий, десятый, дальше и дальше. Это значит, что началась работа женщин, детей, стариков». И он представлял себе хорошо, что это значит: «пять часов утра значит то, что люди, часто в повалку мужчины с женщинами, спавшие в сыром подвале, поднимаются в темноте и спешат идти в гудящий корпус и размещаются за работой, которой конца и пользы они для себя не видят, и работают так, часто в жару, в духоте, в грязи, с самыми короткими перерывами, час, два, три... 12 и более часов подряд».

¹⁾ Полн. собр. соч. Л. Н. Толстого, т. XVII, стр. 49, изд. Сытина.

И вот, поняв всю тягость рабочего труда, Толстой уже иначе относится к пьянствующим рабочим. Он говорит: «Я прежде видел такие шатания фабричных и гадливо сторонился от них, и чуть не упрекал их; но с тех пор как я слышу каждый день эти свистки и знаю их значение, я удивляюсь только тому, что не все они, мужчины, приходят в то состояние золоторотцев, которыми полна Москва, а женщины—в то положение девки, которую я встретил у моего дома» (т. XVII, стр. 110).

Итак, Л. Толстой «удивился» той силе сопротивления невзгодам жизни, которой был полон рабочий класс, в массе своей стремясь сохранить свое человеческое достоинство. Но, к сожалению, великий писатель этим и ограничился.

Толстой—художник не вышел за пределы помещичьей усадьбы и деревни.

Известно, что Толстой-художник не выходил из сферы помещичьего и крестьянского бытия. И только однажды в третьей части романа «Воскресение», давая фигуры политических борцов, Толстой отвел две страницы для характеристики передового рабочего. К этому он был вынужден самой темой романа. Как известно, в последней части романа, Маслова двигается сибирским этапом вместе с политическими ссыльными. Хотя Толстой взял народофильский период революционного движения, но как последовательный реалист он понимал, что и тогда уже в движении участвовали вместе с интеллигентами одиночки рабочие и крестьяне. Толстой и устанавливает как бы пропорцию состава политических ссыльных: он дает несколько интеллигентов, одного человека из крестьянской среды и одного рабочего—Маркела Кондратьева.

Описанный Толстым всего на двух страницах романа рабочий Маркел Кондратьев является, в сущности говоря, только схемой, а не живым человеком. Толстой рассказывает о нем, а не показывает его. Но и то, что писатель говорит, не во всем вероятно. Трудно предположить, чтобы Маркел, будучи 15-летним фабричным подростком, начал пить и курить от сознания смутно-чувствуемой социальной несправедливости. Как раз эти вещи усваиваются проще—под влиянием окружающей среды.

Что касается того, что на Маркела имела влияние пропаганда-революционерка, поступившая на фабрику, то это исторически возможно: такие сведения в качестве материала Л. Толстой мог почерпнуть из чтения, судебных процессов эпохи 70 годов. Далее Толстой говорит о жажде многообразных знаний, которая охватила Маркела; о том, что уже после ссылки он был руководителем большой стачки рабочих, кончившейся разгромом фабрики и убийством директора. Если выбросить убийство директора, то руководство большой стачкой рабочими, побывавшими в ссылке, мы имеем в 1885 г. на Никольской Морозовской мануфактуре. Вполне понятно также отрицательное отношение Маркела к религии и озлобленная

насмешка над попами и над религиозными догматами. Также в порядке вещей, что Маркел, идучи в ссылку, с великой заботливостью хранит первый том Маркса. И только его «непреодолимое презрение» к женщинам вызывает недоумение... Все это Толстой художественно, не мотивируя, бегло рассказал на эпизодических страницах романа. Это именно схема, а не воспроизведение облика рабочего-революционера.

Но Толстой, в романе «Воскресение», не скрывает своего сочувствия к революционерам, как к страдающим людям. А потсму понятна и его симпатия к мыслящему рабочему, гонимому жестокой властью.

В числе посмертных произведений Л. Толстого есть пьеса «От нее все качества», где под видом «прохожего» представлен бывший рабочий, окончательно опустившийся алкоголик.

Пьеса написана Л. Толстым весной 1910 года, т.-е. за полгода до смерти. Сын Черткова ¹⁾ вместе с товарищами—деревенскими парнями—устроивал любительские спектакли. Заинтересовавшись этими спектаклями, Толстой и написал для них пьесу «От нее все качества».

Здесь, в этой полушуточной пьесе, которая в конце сбивается на мелодраму, Толстой подчеркивает свое ироническое отношение к носителю городского революционного начала—рабочему. В тот период, когда так ясно определилось влияние городского пролетариата на развитие крестьянского сознания, Толстой пишет для крестьянского театра пьесу, где человек, говорящий о борьбе и революции, выведен в качестве ничтожного пьяницы. Грубая карикатурность «прохожего» определяется у писателя полным незнанием облика пролетария, захваченного хотя бы и поверхностно общерабочей борьбой. Из бесед прохожего с Акулиной видно, что он был машинистом, получая жалованье от 50 до 70 руб., но сбился с пути, «потому что времена нынче такие, что честному человеку прожить нельзя». В юности он учился у кузнеца, потом был хорошим слесарем. А дальше следует: «Знакомства с образованными людьми имел, во фракции находился. Умственную словесность мог усвоить. И жизнь могла быть возвышенная, так как владел талантами агромадными». При чем Толстой до крайности подчеркивает искажение иностранных слов прохожим: вместо педагогия—«пердагогия», вместо аграрный вопрос—«аграмарный» вопрос и т. д.

Всей фигурой прохожего Толстой говорит: смотрите, как жалок этот бывший городской рабочий, опустившийся нравственно и еще больше свихнувшийся, благодаря плохо переваренным и ложным, по мнению писателя, идеям революционной борьбы. И так как Толстой

¹⁾ В. Г. Чертков, сын генерала и царской фрейлины, богатый помещик, ближайший друг и последователь Льва Толстого. С 1918 по 1922 г. В. Г. Чертков был главным организатором—в Москве—Объединенного совета религиозных общин и групп. Роль его в истории российской контр-революции за указанный период не многим уступала гнусной роли так наз. патриарха Тихона. (От ред.).

тенденциозно рисует явление ему непонятное, то здесь сразу падает художественная способность писателя.

Единственный светлый момент в обрисовке прохожего—это когда он заступает за Акулину и не дает ее бить. Но зато в финале пьесы, насквозь фальшивом по своей нарочитой мелодраматичности, прохожий принимает самый ничтожный облик. Он украл покупку Михайлы—чай с сахаром. Его поймали и вернули обратно. Но здесь великодушный Михайло не только прощает его, но и отдает ему сверток. А прохожий, взволнованный этим, бросает сверток на стол, говорит, что он «подлец и дегенерат»—и уходит.

И такая пьеса, грубо тенденциозная по своему замыслу и слабая на редкость в смысле художественном, иногда по недоразумению украшает репертуар рабочих драматических студий.

Итак, великий писатель, давший гениальную художественную характеристику дворянской и крестьянской России, не постигал великого значения творческой и организующей силы рабочего класса—такой важной в деле общенародного освобождения.

Вот почему он и не мог радости и горести этого класса вобрать в сферу своего художественного творчества. И в тех редких случаях, когда Толстой изображал рабочего, он давал или бледную схему, как это мы видим в романе «Воскресение», или полную едкой иронии карикатуру, как это мы видим в пьесе «От нее все качества».

(Из книги «Рабочий класс в русской литературе», 150—157).

Л. АКСЕЛЬРОД-ОРТОДОКС.

Толстовщина и социалистическое движение.

Толстовство проникнуто идеей примирения классов.

Понимая все то важное прогрессивное значение, какое имеет Л. Н. Толстой, как художник, социал-демократия помнит и ни на минуту не должна забывать, что Толстой, как проповедник, моралист, является самым резким и вполне сознательным противником социалистического движения.

Социал-демократия имеет, как известно, своим стремлением развитие классового сознания пролетариата. Великая цель социализма может быть достигнута только путем роста и развития у рабочего класса сознания коренных противоречий нынешнего общества. Сознание непримиримого антагонизма интересов привилегированного, эксплуатирующего меньшинства с интересами угнетенного эксплуатируемого большинства является той активной внутренней исторической силой, которая должна положить конец существующему порядку вещей.

Диаметрально противоположным содержанием отличается нравственное учение Л. Н. Толстого. Исходя из аскетически-христианского

миросозерцания, Л. Н. Толстой осуждает по существу стремление современного революционного пролетариата к материальному экономическому равенству. Принципиально, не придавая никакого значения материальной жизни, это учение совершенно игнорирует существующее экономическое неравенство. Нравственная проповедь любви и мира направляется поэтому у Л. Н. Толстого ко всем безразлично классам современного общества, и если она дает добрый совет буржуа любить рабочего, то она, с другой стороны, учит рабочего покорно повиноваться буржуазии и терпеть зло и насилие без сопротивления, ибо, как говорится в евангелии Толстого, «заставят тебя сработать на себя одну работу, сработай две, а кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два». Факт эксплуатации человека человеком не ведет к живому активному протесту, не внушает возмущения, не требует борьбы, а, наоборот, должен с христианской точки зрения вызвать чувство полного, безусловного смирения. Ясно, таким образом, что добровольное подчинение эксплуатируемым всякого рода угнетателям возводится здесь в высший, вечный моральный принцип. Вследствие этого вся толстовская нравственная проповедь проникнута идеей примирения классов и, подобно всем метафизическим, нравственным теориям современных защитников буржуазного общества, служит к затемнению классового самосознания борющегося пролетариата. Сущность и смысл этого учения превосходно поняла западно-европейская буржуазия, у которой так называемое философское учение Толстого пользуется огромным уважением и нередко ставится в пример «грубым» материалистам, социал-демократам.

Правда, что Толстой показывает нам со свойственной ему глубиной и ясностью страшную картину вырождения высшего, привилегированного общества, беспощадно бичуя праздный, безнравственный образ жизни господствующих классов. Благодаря своей колоссальной проницательности и тонкой наблюдательности, наш гениальный писатель открывает такие стороны современного общества, каких не замечает обыкновенный глаз обыкновенного человека. Но какой бы резкостью ни отличалась эта критика, она остается совершенно бесплодной, потому что она везде и повсюду приурочивается мистиком-христианином к аскетическим целям. Критика общественных отношений действительна, плодотворна и революционна только в том случае, когда она, отмечая отжившие, негодные общественные формы, указывает на те здоровые растущие силы, из которых должно сложиться и развиваться лучшее будущее и на которые должен опираться общественный деятель, задавшийся целью работать в этом направлении. Критика же Толстого исходит из аскетического начала; она отрицает всю современную культуру без остатка. И, отрицая все, Толстой этим самым оставляет все нетронутым, рекомендуя лишь абсолютное равнодушие к земной жизни, так как в ней—все суета сует. Блестящим подтверждением бесплодности этой критики может служить хотя бы «Воскресение». В этом, во многих отношениях замечательном

произведении художник рисует нам поистине ужасающую картину современной русской жизни. Мастерски воспроизведенная жестокая и бессердечная действительность должна возбудить глубокое чувство протеста и непреодолимое стремление к борьбе за лучшее будущее. Герой этой эпопеи,—Нехлюдов, поставлен поэтому в центре всей изображаемой действительности. Как богатый человек привилегированного сословия, он пользуется всеми благами культуры и плодами тяжелого, непомерного и принудительного труда рабочей массы. Его дорого стоящее существование, его бурные наслаждения куплены самыми глубокими и самыми разнообразными страданиями своих «сестер» и «братьев». Но пройдя значительное расстояние своего жизненного пути, уставши от праздности, излешества и пресыщения, Нехлюдов воскресает, наконец, и празднует свое «полное» нравственное возрождение. И что же намерен делать воскресший Нехлюдов? Возникает ли у него желание бороться против существующего зла и общественной несправедливости? Ничуть не бывало. После всего того, что он видел, пережил и перестрадал, ему становится ясным истинный смысл... евангелия, в которое он погружается всецело. Он понял, наконец, что действительное земное существование ничего не стоит, что оно—полная иллюзия, и что настоящая, разумная жизнь состоит в единении с богом, которое достигается лишь в тот момент, когда человек уходит от общества и начинает относиться презрительно к материальному бытию.

И, поняв эту великую нравственную евангельскую истину, Нехлюдов перестает думать о том, чтобы отдать землю крестьянам. Крестьяне, как и он сам, воскресший и живущий теперь в боге Нехлюдов, не нуждаются в грешной материи. «Единение с богом и нравственное воскресение кончается таким образом тем благополучным результатом, что грешная материя остается попрежнему собственностью Нехлюдова, обеспечивая ему возможность спокойно созерцать свое собственное, утомленное «я» и наслаждаться своим божественным презрением к своему прежнему образу жизни.

Толстовство санкционирует, как вечный институт, частную собственность.

Мы видим, таким образом, что вся quasi-революционная критика Толстого кончается неизменно тем, что следует отказаться от культурных потребностей, не бороться за материальное земное благо, любить друг друга при всех условиях и подставлять левую щеку тому, кто тебя ударит в правую, и тогда настанет царство божие... **внутри нас.**

Одним словом, Толстой, подобно всем мистикам-моралистам, возвел в вечный нравственный закон существующий теперь на деле аскетический образ жизни угнетенных рабочих масс. А такой высший нравственный закон весьма приятен и весьма выгоден привилегированным классам.

В те редкие моменты, когда Толстой оставляет свою религиозную, идеалистическую точку зрения и касается какого-нибудь конкретного вопроса, он является **самым умеренным либералом, а чаще всего—консерватором**. Нападая, например, на частную собственность, Толстой нигде не говорит, что она должна быть отменена. Как только проповедник приближается к этому проклятому, неприятному вопросу, он сейчас оставляет свой ясный реалистический язык и ведет обыкновенно такую речь: «Не заботьтесь для души вашей, что вам есть и пить, ни для тела вашего, во что одеваться; душа не больше-ли пищи и тело—одежды. Взгляните на птиц небесных: они ни сеют, ни жнут, и отец ваш небесный питает их» и т. д., и т. д. Вся критика частной собственности сводится в конечном счете к тому, что богатым вменяется в нравственную обязанность накормить и одеть неимущего ближнего. **Словом, когда Толстой касается вопроса о частной собственности, он развивает на разные лады филантропическую заповедь евангелия, которая не только не восстает против частной собственности, а, напротив, санкционирует этот институт, как вечную общественную категорию.**

Толстой—сознательный противник социализма.

Что Л. Н. Толстой является **сознательным противником социализма**, это он ясно обнаружил в своих последних брошюрах, непосредственно направленных против социалистического движения. **«Рабство нашего времени» посвящено по существу критике или, точнее, отрицанию социализма.** В «Обращении к рабочему народу» социализм признается безнравственным учением на основании таких рассуждений: «Не согласна с правилом,—пишет там Толстой,—о делании другим того, что хочешь, чтобы тебе делали и вся социалистическая деятельность (раньше шла речь о безнравственности революции). Она не согласна с этим правилом, во-первых, потому, что, ставя в свою основу **классовую борьбу, вызывает в рабочих к хозяевам** и вообще к нерабочим такие враждебные чувства, которые со стороны хозяев никак не могут быть желательны для рабочих. Не согласна с этим правилом еще и потому, что при стачках рабочие очень часто, для успеха своего дела, бывают приведены к необходимости употреблять насилие против тех рабочих, своих или чужих народностей, которые хотят заступить их место¹⁾. Обращаясь к политическим деятелям, Толстой говорит, что причины всех современных бедствий суть: «отрицание всякой религии и направление деятельности народа на служение правительству, революции и социализму»²⁾. Служение революции и социализму ставится, как видит читатель, на одну доску со служением правительству, и рассматривается, как одно из бедствий современной действительности.

¹⁾ Стр. 26 «Свободного слова».

²⁾ «К политическим деятелям», стр. 25.

Спрашивается, какая польза революции и социализму от толстовской критики правительства и современных общественных отношений, когда тот же Толстой также отрицает революцию и социализм? Разве не очевидно, что Толстой борется против одного заблуждения с помощью другого и зачеркивает таким образом левой рукой все то, что им написано правой? Далее, в этой же брошюре автор, выражая свое сожаление по поводу того, что политические деятели растрачивают свои силы непроизводительно, пишет: «Сколько тратится молодых, горячих сил на попытки революции, на невозможную борьбу с государством ¹⁾), сколько тратится на социалистические неосуществимые мечтания»... Итак, борьба против современного государства невозможна, а социализм объявляется неосуществимой мечтой! Это чрезвычайно характерно для утописта Толстого.

Толстой, который считает возможным уничтожение современного государства путем личного отказа от военной службы; который верит, что человечество откажется со временем от культуры, уничтожит технику и станет жить аскетической жизнью (царство божие внутри нас), который допускает возможность прекращения половой любви,—смотрит на социализм, как на неосуществимую мечту. Это прямо напоминает того юношу из евангелия, который строго соблюдал все десять заповедей, но «отошел с печалью», когда Иисус ему посоветовал для полного нравственного совершенства раздать свое имущество. Иисус, как известно, тут же сделал тот, можно сказать, марксистский вывод, что удобнее верблюда пройти сквозь игольное ушко, нежели богатому войти в царство небесное.

Подобно славянофилам, Толстой ценит в народе не его способность к **борьбе** и стремление к свету, а его темную, невежественную веру, тупое терпение и непомерный труд, которые должны спасти истинную христианскую религию. Блестящим и убедительным доказательством этого могут служить все крестьянские положительные типы, выведенные Толстым в своих художественных произведениях. Пилигрим Гриша, Платон Каратаев и Аким во «Власти тьмы» выражают собою те спасающие народные силы, которые дороги Л. Н. Толстому, и на которые, по его мнению, следует рассчитывать. И что же представляют собою эти типы, кроме воплощения бесконечного, позорного для человека, терпения внутреннего довольства рабским положением и глубокого невежества?

Многие смотрели на «Власть тьмы», как на резкий протест против невежества и темноты крестьянской массы. Это ложное толкование. Своей превосходной в художественном отношении деревенской трагедией, великий художник хотел сказать, что в деревне свет, и что тьма идет из города, все более и более упрочивая свою власть в деревне и развращая чистые нравы скромного земледельческого населения. Капиталистическое производство и городская

¹⁾ Разрядка наша.

промышленность, породившие новые потребности в крестьянской среде, составляют главную причину всех жестокостей и потрясающих преступлений, которые легли в основу этой драмы. Тьма—это город с его грешной, языческой культурой. И трудящаяся, довольная и проникнутая христианским смирением деревня подпала под власть городской тьмы. Светлым и самым положительным типом в этом произведении является ограниченный, невежественный, с трудом выражающий свои примитивные мысли старик Аким. На него указывает Толстой, как на спасителя от всех бедствий современной цивилизации.

Словом, Толстой ценит в народе рабскую покорность, тяжелый физический труд, довольство малым и религиозное христианское смирение. Учение Л. Н. Толстого о непротивлении злу насилем есть не что иное, как возведенное в вечный нравственный принцип вековое рабство.

(Из сборника статей «Лев Толстой», Гиз. 1922 г.)

К. КАУТСКИЙ.

Город и деревня в учении Толстого.

Толстой не понимает социалистического идеала.

Одним из лучших прозаических сочинений Толстого кажется нам его недавно появившаяся брошюра «Рабство нашего времени». О художественном таланте великого русского писателя нам нет надобности тратить лишних слов. В нем никто больше не сомневается. Само собой разумеется, что заключающиеся в лежащей перед нами книге описания русских условий рабочего быта сделаны мастерски и производят самое глубокое впечатление. Но книга эта приковывает к себе внимание и теми своими страницами, где говорит не художник, но социальный философ. Правда, философия его дышит странной и реакционной наивностью, но при всем том в ней чувствуется глубокий мыслитель и остроумный наблюдатель, который, как мало кто, изучил человеческую душу.

Мы не будем на этот раз излагать его общей точки зрения, это все тот же известный пассивный анархизм, который хочет разрушить могучую организацию государственной власти дезорганизацией ее противников.

Государственное насилие является для него величайшим врагом всякого человеческого счастья, образование государства—грехопадением человеческого рода, изгнавшим его из его рая. Райским состоянием было состояние свободных крестьян, которых не угнетали никакие налоги и не привлекала никакая городская роскошь. Восстановление этого состояния является, по его мнению, нашей задачей.

Поэтому Толстой обращается против социалистов, конечная цель которых иная, и именно этой-то политикой мы здесь и займемся.

Он считает, что цель социализма состоит просто в том, чтобы посредством обобществления средств производства приравнять положение рабочего к положению буржуазии крупных городов. Вместо того, чтобы вернуть их к природе, социализм хочет сделать отчуждение от нее общим состоянием всего общества.

Освобождение рабочих, возражает Толстой, не может быть достигнуто ни уменьшением рабочего дня, ни повышением заработной платы, ни обобществлением средств производства. «Все это не может улучшить их положения потому, что бедственность положения рабочих как на железной дороге, так и на шелковой и всякой другой фабрике или заведении заключается не в большем или меньшем количестве часов работы и не в малом количестве платы, и не в том, что железная дорога или фабрика принадлежит не им, а в том, что рабочие принуждены работать во вредных, неестественных и часто опасных и губительных для жизни условиях городской казарменной жизни, полной соблазнов и безнравственности, и работать чужую и подневольную работу» (стр. 19 и 20. Изд. «Своб. Слова»). «Даже самые передовые люди науки—социалисты, требуя полной передачи рабочим орудий производства, при этом всегда предполагают, что будет продолжаться производство на тех же или таких же фабриках и с теперешним же разделением труда все тех же предметов или почти тех же самых, которые производятся теперь.

«Разница, по их представлению, будет только в том, что тогда не они одни, а все будут пользоваться такими же удобствами, которыми они теперь пользуются...

«По их теории, рабочие тогда, соединяясь в союзы, товарищества, воспитывая в себе солидарность, дойдут, наконец, посредством союзов, стачек и участия в парламентах до того, что овладеют всеми, включая и землю, орудиями производства; и тогда будут так хорошо питаться, так хорошо одеваться, такими будут пользоваться увеселениями по воскресеньям, что предпочтут жизнь в городе, среди камня и дымовых труб—жизни деревенской, на просторе, среди растений и домашних животных, и однообразную, по звонку, машинную работу—разнообразной, здоровой и свободной земледельческой работе».

Если бы эта критика направлялась против буржуазной политической экономии, тогда мы без дальних разговоров согласились бы с ней, потому что эта последняя, даже в лице своих самых смелых и наиболее дружественно расположенных к рабочим представителей, не может представить себе иного общественного строя, кроме существующего; увеличение человеческого счастья кажется ей равносильным умножению числа фабрик в больших городах, и самые широкие мечтания ее не ожидают от социального будущего ничего больше, кроме сокращения на час или на два рабочего дня на этих фабриках, повышения заработной платы до того, чтобы рабочие не голодали, и проведения такого законодательства, которое посредством третейских судов сделало бы совершенно излишними и даже невозможными стачки.

Стремление населения из города в деревню—продукт товарного хозяйства.

Но является ли это стремление из деревни в город только продуктом произвола и насилия власть имущих, как это думает Толстой?

В нашем исследовании мы должны строго разделить два явления: это стремление от селско-хозяйственной деятельности к промышленной и стремление от сельской жизни к городской.

Первоначально сельский хозяин соединял селско-хозяйственную деятельность с промышленной. Тогда всякий был сельским хозяином, если он только не был ростовщиком или разбойником. Общественное разделение труда ведет к тому, что отдельные функции и работы сельского хозяина становятся самостоятельными профессиями; развитие техники создает новую промышленную, художественную, научную деятельность, с самого начала уже независимую от селско-хозяйственной деятельности. Таким образом, растет в обществе число элементов, которые не занимаются сельским хозяйством. Но то же самое развитие промышленности и науки создает также улучшенные орудия и методы для сельского хозяйства, которые все более увеличивают доходы от него, постоянно нарушают закон об уменьшающемся доходе от земли и уменьшают число занятых в сельском хозяйстве человеческих рабочих сил, увеличивая в то же время число действующих в нем покоренных человеком механических и химических сил. Избыток пищевых средств, производимых сельским хозяйством, все увеличивается, а с ним вместе растет и число людей, которые могут заняться другими, а не селско-хозяйственными работами. Все это необходимо приводит к тому, что число человеческих рабочих сил, которые общество отдает сельскому хозяйству, становится все ничтожнее сравнительно со всей их совокупностью. Но это есть следствие не уменьшающегося дохода от земли, а увеличивающегося разделения труда, которое действует против этого закона.

Так как мы должны согласиться, что разделение труда пойдет в обществе и дальше, то мы должны также согласиться и с тем, что стремление от сельского хозяйства к промышленности с естественной необходимостью будет продолжать существовать, как бы ни складывались формы общества.

Итак, мы здесь имеем дело если и не с законом природы, то все-таки с таким социальным явлением, которое действует с необходимостью закона природы.

Этим, однако, стремление из деревни в город отнюдь не провозглашается железной необходимостью.

Чтобы понять его, мы должны рассмотреть функции города. С самого его начала и до настоящего времени главной его задачей было служить **рынком для товаров**. Он есть детище **товарного производства**. Удовлетворяющий свои потребности крестьянин не нуждается ни в рынке, ни в городе. Напротив, товарное производство

и торговля невозможны без рынка, где могут встречаться покупатель и продавец.

Как для того, так и для другого важно жить возможно ближе к рынку, рынок становится центральным пунктом, кругом которого селятся производители товаров, потребители и торговцы. Купец селится в городе, каждая ветвь промышленности, обособляющаяся от сельского хозяйства, стремится туда же. Но товарами делаются также и искусство и наука, и город становится подходящим рынком для художников и ученых. Где собираются продавцы товаров роскоши, туда же стремятся и покупатели их—князья церкви и государства со своей свитой из аристократов, бюрократов и солдат делаются горожанами. Только один крестьянин не может производить своей работы в городе, его приковывает к себе клочек земли; но притягательная сила городов становится так велика, что она нередко разрывает и эти оковы и тянет крестьянина в город, как продавца единственного оставшегося у него товара,—товара рабочей силы.

Чем больше растет товарное производство, тем больше вырастают города, пока капиталистическое производство, которое превратит почти все производство в товарное и в то же время страшно повысит производительность сельского хозяйства, сконцентрирует в городах огромное большинство населения.

Поэтому, пока продолжается товарное производство, будут продолжать существовать и города; до тех пор, разумеется, и все духовные и светские проповеди ничего здесь не изменят, и кто считает товарное производство естественной необходимостью, должен считать тоже естественной необходимостью и рост городов и обезлюдение деревни.

Кто хочет остановить стремление из деревни в город, кто хочет вернуть население из городов обратно в деревню, тот должен сначала положить конец товарному производству.

Толстой зовет назад.

Но для этого имеются два пути; один указывает Толстой, это—**путь назад**. Крестьянин должен снова сам удовлетворять свои потребности, производить все сам, что ему нужно: должна прекратить свое существование и государственная власть, облагающая крестьян денежными налогами. Денежные налоги являются могущественным средством принудить крестьянина к товарному производству и сделать его зависимым от рынка. Отсюда и анархизм Толстого, отсюда и борьба его против роскоши, отсюда также и его отвращение к далеко идущему разделению труда. «Разделение труда несомненно очень выгодно и свойственно людям, но если люди свободны, то разделение труда возможно только до известного, очень недалекого предела, который уже давно перейден в нашем обществе».

Нет никакого сомнения, что состояние крестьянина, в стадии самоудовлетворяющего свои потребности, независимого от рынка

и не обремененного никакими налогами хозяйства, в высшей степени счастливое; нам доказывает это его веселая, жизнерадостная поэзия и искусство. Но если бы даже было мыслимо перенести современных людей в эту стадию, заставить их находить в ней наслаждение, выкурить из памяти людей все техническое, художественное и научное развитие тысячелетней цивилизации и победить государственную власть пассивным сопротивлением каждого отдельного человека, то что бы из этого вышло? Та стадия крестьянского хозяйства, которая составляет идеал Толстого, была всего только переходной стадией, из которой с естественной необходимостью развилось классовое деление и государство, и восстановить эту стадию значило бы осудить человечество на повторение всего кровавого и болезненного пути страданий, который ему нужно было пройти от крестьянского варварства до капиталистической цивилизации.

Толстовское решение вопроса было бы так же бесцельно, как и невозможно. Решение может лежать только в современном социализме, который хочет уничтожить товарное производство не возвратом к давно уже умершим формам, но движением к высшей стадии общественного производства для общественного же потребления, движением, которое стремится не уничтожить культурные завоевания капиталистического периода, но использовать их для общего блага.

Противоположность между городом и деревней будет устранена не толстовством, а социализмом.

Социалистическое уничтожение товарного производства делает возможным противодействие скоплению населения в городах и более равномерное распределение его в деревне. И так как культурный человек полон все возрастающего стремления к природе, так как планомерное распределение населения несет с собой самые разнообразные преимущества в гигиеническом и техническом отношении, а всякое экономическое основание для концентрации населения в немногих пунктах устраняется социалистическим регулированием производства, то мы имеем все поводы думать что социализм поведет за собой уничтожение противоположности между городом и деревней и в этом смысле осуществит толстовский идеал.

Правда, что есть социалисты, которые думают не так, но наиболее глубоких мыслителей социализма мы между ними не встретим. Толстой указывает на Беллами, но Беллами не может считаться одним из наших передовых мыслителей. Колоссальный успех его утопии был следствием ее слабостей, недостатка фантазии и ограниченности, представляющей филистеру такой социализм, который он мог бы понять без большого умственного напряжения. Социалист, вдохновляющий филистера, быстро делается героем дня и заставляет говорить о себе весь свет, но только затем, чтобы скоро снова быть забытым. Кто теперь еще думает о Беллами?

Если Толстой и в настоящее время ссылается на Беллами в доказательство того, что социалисты продолжают поддерживать противоположность между городом и деревней и даже хотят еще более обострить ее, против этого я могу возразить то, что уже при первом появлении книги Беллами защищаемое в ней мировоззрение названо было крупной ошибкой. В моей заметке по поводу «Looking Backward» в 1889 году я писал:

«Автору не хватает как психологического остроумия и силы творчества, так и фантазии. Социалистический переворот в его глазах ничего не изменяет в технике производства и сношений или во внешних проявлениях жизни... Недостаток фантазии наш Жюль-Верн социализма мог бы до некоторой степени заместить подробным изучением социалистической литературы, социалистической теории. Однако, он это сделал в очень недостаточной мере. «Капитал» Маркса остался совершенно неизвестным этому переводчику социализма, а вместе с тем, и многочисленные указания на будущее, содержащиеся в этом произведении,—указания, в которых намечаются последствия, какие должно повлечь за собой национализирование средств производства пролетариатом. **Одно из самых важных последствий—это уничтожение противоположности между городом и деревней.** Беллами не имеет об этом ни малейшего представления: прогресс двадцатого столетия состоит у него в том, что города сделаются еще обширнее, чем теперь, и только пролетарские закоулки превратятся в нарядные аллеи».

Моя критика показалась тогда слишком суровой. В настоящее же время никто не станет особенно заступаться за Беллами. Толстой стоит совершенно на ложном пути, если в американских спиритистах и утопистах он видит профессиональных представителей современного социализма. Здесь уже указывалось на то, что Маркс считал уничтожение противоположности между городом и деревней необходимым последствием социализма. Наши великие утописты, от Оуэна и Фурье до Вильяма Морриса, придерживались того же самого мнения. Толстому, повидимому, неизвестны «Вести из ниоткуда» его английского коллеги. Это очень жаль. Эта прелестная идиллия показала бы ему социализм с той стороны, которая должна быть ему в высшей степени симпатична.

Итак, критика его, в разобранном здесь отношении, нападает только на второстепенных представителей нашего дела. Но кто хочет критиковать социализм, тот должен судить о нем по его классическим мыслителям, а не по однодневным мухам, которых вводит в моду минутное настроение.

Выдающиеся мыслители современного социализма хотят, подобно Толстому, создать такое положение, при котором перестанут существовать большие города и люди снова вернутся к сельской жизни. Подобно Толстому, они хотят снова доставить человечеству покой, мир, силу, жизнерадостность и счастье, которое дает обеспеченное существование и разнообразная, освежающая работа в постоянном общении с природой. Но ради этой цели они не хотят вернуть людей

обратно к варварству изолированной крестьянской деревни; они хотят обновить общество не в рамках примитивной деревенской общины, но в рамках современного крупного государства и даже еще больше— в рамках союза государств; не ограничением человека интересами своей судьбы, поля и своего прихода, а доставлением возможности каждому принять участие во всех интересах человечества, в материальном производстве, в искусстве и науке; не периодической раздачей клочков земли каждому семейству, а общностью владения не только землей, но и всеми силами природы, которые покорил и заставил служить себе цивилизованный человек, не пожизненным прикреплением человека к сельскому хозяйству, которое, как заметил Толстой, часто заставляет его работать от 18 до 24 часов в сутки, но уменьшением необходимой работы, как в сельском хозяйстве, так и в промышленности до нескольких часов в день, последнее же увеличит время для свободно избранной деятельности каждого отдельного человека в области ли забав или труда, в научном ли исследовании или мышлении, одним словом, для деятельности его, как свободного культурного человека. **Вот что в противоположность Толстому является идеалом социализма.**

(Из сборника «Очередные проблемы международного социализма». Изд. «Коммунист» 1918 г.).

Короткий, но выразительный диалог.

Приехал Илья Львович. Он спросил отца, какого он мнения о Стесселе? Дурно ли поступил Стессель, что отдал Порт-Артур?

— Дурно,—ответил Л. Н.—С военной точки зрения нельзя так делать. Из-за лисицы сломать ногу лошади—дурно; но если уж идешь на охоту, то нельзя лисицу прозевать.

— Будет революция,—сказал Илья Л.

— Она уже есть,—ответил Л. Н.

— Весной,—сказал Илья Л.,—ждут восстания мужиков против помещиков; землю возьмут, помещиков вырежут.

Л. Н.—Этого не будет.

Ил. Л.—Да, ясенские из уважения к тебе этого не сделают, а другие сделают.

Л. Н.—Нет. Мужики не станут этого делать. Поднять можно загипнотизированных фабричных рабочих, но не мужиков.

И. Л.—Социалисты быют на землю, говорят им, что будут делить землю.

Л. Н.—Это может сделать правительство, а не революция.

Ил. Л.—Правительство не уступит. Будет Собор, но это будет только переход к новой форме правления. Земский собор будет бурный и превратится в парламент.

— Л. Н.—Ни от какой новой формы правления не будет лучше.

(Из записей Д. Маковицкого за 1905 г.).

М. ОЛЬМИНСКИЙ ¹⁾.

Наше отношение к Л. Н. Толстому.

Я хочу рассказать об отношении к Толстому революционеров того времени, когда Толстой полностью определился, т.е. в 70-е—80-е годы.

Граф Л. Н. Толстой, крупный помещик, печатался в журнале «Русский Вестник», в журнале крепостническом, или, говоря по-нынешнему, в белогвардейском. А в то время невозможно было отделять политики от «художественной» литературы: в литературной форме излагалась, можно сказать, революционная программа (напомню «Что делать?» Чернышевского), в такой же форме, в виде пасквилей на революцию, шла борьба контр-революции (с дополнением газетных статей, каторги и виселиц).

Понятно поэтому наше отношение к Толстому: его, как и Достоевского (после пасквильного романа «Бесы»), попросту не читали.

Я лично прочел «Войну и мир», еще не будучи сколько-нибудь сознательным революционером, в возрасте 14—15 лет. А затем решил прочесть кое-что (опять «Войну и мир», «Анну Каренину»), в тюрьме, во второй половине 90-х годов. И осталось впечатление, что зря потратил время на чтение на этих контр-революционных произведениях. Конечно, писания Толстого талантливы, но именно поэтому сугубо вредны и опасны.

Пришлось поневоле познакомиться с писаниями Толстого также в середине 80-х годов,—писаниями новыми. В то время революционная организация «Народной Воли» клонилась к упадку как под ударами полиции и провокации, так и потому, что идеология «Народной воли» уже стала переживать сама себя. Вдруг появились слухи, будто бы Лев Толстой проповедует новое противоправительственное учение. Появились подпольные поризведения Толстого, распространявшиеся по тем же каналам, по которым распространялась и революционная литература. Если память мне не изменяет, появилась и статья «Так что же нам делать?», как бы ответ на «Что делать?» Чернышевского и как предвестник «Что делать?» Ленина. Разница в том, что Чернышевский и Ленин указывали путь революции, а Толстой, как это скоро выяснилось, вбивал осиновый кол в гроб революции. Учение Толстого сводилось к «непротивлению злу насилием». Если крестьянина секут за неуплату недоимок или аренды «барину» — нельзя противиться; если рабочего бьют и штрафуют — не противься; если революционер попадает на каторгу или на виселицу — не противься жандармам и провокаторам и т. д.

Это учение быстро распространилось среди ренегатствующей интеллигенции и заразило честную молодежь именно благодаря талантности его проповедника Льва Толстого. Молодежь, оставшаяся верной революции, оказалась точно на необитаемом острове. И понятно, что товарищи Александра Ульянова (брата Ленина) и сам

¹⁾ Автор М. Ольминский является одним из старейших членов ВКП (б).

Ульянов, уже склонявшиеся к марксизму, сделали жест отчаяния, прибегли к бомбам и погибли на виселице. Учение Толстого било и по народовольцам и по марксистам.

Правда, Толстой рекомендовал уклоняться и от военной службы. Но как он доказывал это свое учение? Во-первых, в художественной форме, в виде картины того, как неприятель вторгся в страну «непротивленцев», как он опустошал страну и, в конце концов, пришел к выводу, что избивать непротивленцев—все равно, что «кисель резать ножом». Следовательно, например, в наши дни, если бы империалисты вместе с белыми эмигрантами вторглись в пределы Советского Союза, то не следует противиться.

Скоро царское правительство оценило деятельность графа и для проповеди его идей разрешило легальное издательство под фирмой «Посредник» ¹⁾. Среди теперешних коммунистов живы еще люди,

¹⁾ Больше всего в последние 30 лет Толстой писал для «Посредника».

«Посредник»—издательство, организованное ближайшими единомышленниками Льва Толстого в конце 1884 г. и просуществовавшее до Октябрьской революции. Первоначальной его задачей было издание реформированной религиозно-нравственной и художественной «народной» литературы—для вытеснения лубочной макулатуры. Вскоре, однако, «Посредник» превратился, по словам П. И. Бирюкова (биографа Толстого), в «издательский орган Толстого». В конце 80-х годов толстовство сделалось заметным общественным движением, захватившим некоторые слои интеллигенции и крестьянства. Толстовство сделало своего рода сектой, имевшей свои общины (колонии), своих пропагандистов и т. д.

«Посредник» сделался агитпропом этой секты. Рост толстовского движения в конце 80-х годов побудил было даже Толстого поднять вопрос о создании международного «Посредника» на четырех языках (в Лейпциге). Мысль эта, однако, не получила осуществления. Вначале «Посредник» издавал дешевые беллетристические и религиозно-нравственные книжки с толстовским уклоном (Участие известного издателя И. Сытина много содействовало коммерческому преуспеванию «Посредника»). Вскоре, однако, «Посредник» расширил сферу своей деятельности и стал выпускать труды, рассчитанные на более искушенного читателя. Что «Посредник» служил органом не только толстовства, но и всего дореволюционного сектантства, показывает то обстоятельство, что среди литературы, издававшейся «Посредником», почетное место занимают книги апологетического характера о сектантах (Пругавин А. С.—«Религиозные отщепенцы», «Очерки современного сектантства», Сулержицкий Л.—«В Америку с духоборами», Бирюков П.—«Духоборцы» и т. д.). Толстовство, как общественное движение, вообще неразрывно связано было с сектантами, имея общие с ним социальные корни. Недаром оберпрокурор синода в своих всеподданнейших отчетах причислял толстовцев к сектантам. В отчете знаменитого оберпрокурора святейшего синода К. П. Победоносцева прославившегося своим мрачным изуверством, за 1902-1904 г. читаем: «Секты рационалистического характера: штундисты, молокане, духоборы, хлысты, скопцы, жидовствующие, баптисты, ТОЛСТОВЦЫ, шалопуты, малеванцы, мормоны, прыгуны, пашковцы, новый израиль и др.».

Почему же царская цензура, защищавшая монополию православной церкви в деле одурманивания масс и преследовавшая сектантов, разрешила печатание изданий «Посредник», проникнутых явным сектантским духом? Объясняется это весьма тонким и дальновидным расчетом. 90-е и 900-е годы были переломным периодом в истории России. Устои феодализма и самодержавия зашатались под напором новых общественных сил, вызванных к жизни ростом капитализма. В борьбе с наступлением пролетариата, с пробуждающимся крестьянством, командующие классы старались использовать все средства принуждения и

которые боролись против контр-революционного учения Толстого; есть и товарищи, смолоду увлекшиеся учением Толстого. И недаром тов. Луначарский в анкете, напечатанной в № 52 (248) «Огонька» (в конце анкеты), опасается «рецидива толстовских настроений», недаром там же и тов. Крупская в других выражениях повторяет опасения тов. Луначарского.

Это потому, что и тов. Крупская и тов. Луначарский были и остаются революционерами. В противовес им в той же анкете Вересаев отзывался о Толстом безоговорочно в положительном смысле, и это понятно: Вересаев не революционер. И только для таких людей мешанского склада, как я думаю, годовщина рождения Толстого может быть беспримесным праздником...

Тов. Крупская выражается деликатно: не следует навязывать чтение Толстого рабфаковцам, т.-е. молодежи. А среди молодежи приходится встречать мнение, что грехи прошлого в деятельности Толстого настолько отдалены временем, что они при чтении не замечаются. Можно сделать из этого одно из двух предположений: или прошлое действительно не замечается, или молодежь недостаточно знакома с историей революционного движения в России и с историей контр-революционных течений.

А тем, которые серьезно думают, будто Толстой не был крепостником, можно рекомендовать чтение высоко-художественного произведения—«Пошехонская старина» Салтыкова Щедрина, или, по крайней мере, перечитать то, что писал в своих стихотворениях Некрасов о детстве, отрочестве и вообще о помещичьей жизни и жизни крестьян во время крепостного права, а затем, сравнить как описывали эпоху крепостного права, с одной стороны, Толстой, а с другой стороны, Некрасов и Салтыков...

(«На литературном посту», 1928 г. № 3.)

убеждения. Непротивлеческая пропаганда «Посредника», в конечном итоге, служила интересам командующих классов, ибо она разлагала, притупляла, помогала тушить революционное движение. Те сочинения Льва Толстого, которые носили внешне противоправительственный характер («Николай Палкин» и др.) цензура просто запрещала, а те перелицованные на новый лад жития святых, которые издавались «Посредником» под названием «Жизнь замечательных людей» («Жизнь Франциска Ассизского», «Дневник Амизэля» и пр.) являлись на деле той же духовной сивухой, что и церковная проповедь, но сивухой подчас более тонкой и действительной, чем бесталанная, казенно-церковная душеспасительная литература.

Что наиболее пронизательные реакционеры так именно смотрели на толстовскую пропаганду, показывает, хотя бы, следующий пример. В 1906 г., когда революция всеми силами отбивалась от взявшей верх реакции, издательство «Свобода и христианство» (одно название чего стоит!), руководившееся архимандритом Михаилом, выпустило для массового распространения известную книжку Л. Толстого «Божеское и человеческое», где автор попытался изобразить революционера Д. Лизогуба непротивленцем, со следующим примечанием от редакции: «Преступное безумие некоторых деяний революционных партий (разумеется, революционный террор) заставляет нас предложить вниманию читателей «образ» революционера-идеалиста, чистого сердцем и духом». «Чистые сердцем и духом» толстовцы были, разумеется, более приемлемы для помещиков и буржуазии, чем «безумные революционеры». (От редакции).

III. ТОЛСТОВЦЫ— БЕЗ НИМБА И ФИМИАМА.

МАКСИМ ГОРЬКИЙ.

О Толстом.

В тетрадке дневника, которую Лев Николаевич дал мне читать, меня поразили странный афоризм. «Бог есть мое желание».

Сегодня, возвратив тетрадь, я спросил его, что это?

Незаконченная мысль,—сказал он, глядя на страницу прищуренными глазами.—Должно быть, я хотел сказать: бог есть мое желание познать его... Нет, не то...—Засмеялся и, свернув тетрадку трубкой, сунул ее в широкий карман своей кофты. С богом у него очень неопределенные отношения, но иногда они напоминают мне отношения «двух медведей в одной берлоге».

* * *

Советовал мне прочитать буддийский катехизис. О буддизме и христе он говорит всегда сентиментально; о христе особенно плохо—ни энтузиазма, ни пафоса нет в словах его и ни единой искры сердечного огня. Думаю, что он считает Христа наивным, достойным сожаления и хотя—иногда—любуется им, но—едва ли любит. И как будто опасается: приди Христос в русскую деревню,—его девки засмеют.

Сегодня Л. Н. вдруг спросил Чехова:

— Вы сильно распутничали в юности?

А. П. смятенно ухмыльнулся и, подергивая бородку, сказал что-то невнятное, а Л. Н., глядя в море, признался:

— Я был неутомимый...

Он произнес это сокрушенно, употребив в конце фразы соленное, мужицкое слово. Тут я впервые заметил, что он произнес это слово так просто, как будто не знает достойного, чтобы заменить его. И все подобные слова, исходя из его мохнатых уст, звучат просто, обыкновенно, теряя где-то свою солдатскую грубость и грязь. Вспоминается моя первая встреча с ним, его беседа о «Варенке Олесовой», «26 и одна». С обычной точки зрения речь его была цепью «неприличных» слов. Я был смущен этим и даже обижен; мне показалось, что он не считает меня способным понять другой язык. Теперь понимаю, что обижаться было глупо.

Он всегда весьма расхваливал бессмертие по ту сторону жизни, но больше оно нравится ему—по эту. Писатель национальный в самом истинном и всеобъемлющем значении этого понятия, он воплотил в огромной душе своей все недостатки нации, все увечья,

нанесенные нам пытками истории нашей; его туманная проповедь «неделания», «непротивления злу» — проповедь пассивизма, — это все нездоровое брожение старой русской крови, отравленной монгольским фатализмом и — так сказать — химически враждебной Западу с его неустанной творческой работой, неуклонным, действенным сопротивлением злу жизни. То, что называют «анархизмом Толстого», в существе и корне своем выражает нашу славянскую антигосударственность, черту опять-таки истинно национальную, издревле данное нам в плоть стремление «разбрестись розно». Мы и по сей день отдаемся стремлению этому страстно, как вы знаете и все знают. Знают — но расползаются, и всегда по линиям наименьшего сопротивления, видят, что это пагубно, и ползут еще дальше друг от друга, — эти печальные, тараканьи путешествия и называются: «История России», государства, построенного едва ли не случайно, чисто-механически, к удивлению большинства его честномыслящих граждан, силами варягов, татар, остзейских немцев и околоточных надзирателей. К удивлению, ибо мы все «разбредались», и только когда дошли до мест, хуже которых не найдешь, дальше идти некуда, ну — остановились оседло жить: такова, стало быть, доля наша, такова судьба, чтобы сидеть нам в снегах и на болотах, в соседстве с дикой Эрзей, Чудью, Мерей, Весью и Муромой. Но явились люди, учуявшие, что свет нам не с Востока, а с Запада, и вот он, завершитель старой истории нашей, желает — сознательно и бессознательно — лечь высокой горою на пути нации к Европе, — к жизни активной, строго требующей от человека величайшего напряжения всех духовных сил. Его отношение к опытному знанию тоже, конечно, глубоко национально, — в нем превосходно отражается деревенский, старорусский скептицизм невежества. В нем — все национально, и вся проповедь его — реакция прошлого, атавизм, который мы уже начали было изживать, одолевать.

Вспомните его письмо «Интеллигенция, государство, народ», написанное в 1905 году, — какая это обидная и злорадная вещь! В ней так и звучит сектантское: «Ага, не послушали меня!». Я написал ему тогда ответ, основанный на его же словах мне, что он давно утратил право говорить о русском народе и от его лица, ибо я свидетель того, как он не желал слушать и понять народ, приходивший к нему беседовать по душе. Письмо мое было резко, и я не послал его.

Вот он теперь делает свой, вероятно, последний прыжок, чтоб придать своим мыслям наиболее высокое значение. Как Василий Буслаев, он вообще любил прыгать, но всегда — в сторону утверждения святости своей и поисков нимба. Это — инквизиторское, хотя учение его и оправдано старой историей России и личными муками гения. Святость достигается путем любования грехами, путем порабощения воли к жизни. **Люди жить хотят, а он убеждает их: это пустяки, земная наша жизнь! Российского человека очень просто убедить в этом: он — лентяй и ничего так не любит, как отдохнуть от безделья.** В общем, он, конечно, не

Платон Каратаев и не Аким, не Безухий и не Нехлюдов, — все эти люди созданы историей и природой не вполне по Толстому, он только исправил их для вящего подкрепления проповеди своей.

(«Воспоминания о Л. Н. Толстом», 1922 г.).

О толстовцах.

Странно было видеть Л. Н. среди «толстовцев»; стоит величественная колокольня и колокол ее неустанно гудит на весь мир, а вокруг бегают маленькие, осторожные собачки, визжат под колокол и недоверчиво косятся друг на друга — кто лучше подвыл? Мне всегда казалось, что и Ясно-Полянский дом, и дворец графини Паниной эти люди насквозь пропитывали духом лицемерия, трусости, мелкого торгашества и ожидания наследства. В «толстовцах» есть что-то общее с теми странниками, которые, расхаживая по глухим углам России, носят с собой собачьи кости, выдавая их за частицы мощей, да торгуют «египетской тьмой» и «слезками» богородицы. Помню, как один из таких апостолов в Ясной Поляне отказался есть яйца, чтобы не обидеть кур, а на станции Тула аппетитно кушал мясо и говорил:

«Преувеличивает старичек!».

Почти все они любят вздыхать, целоваться, у всех потные руки без костей и фальшивые глаза. В то же время это практичные люди, они весьма ловко устраивают свои земные дела.

Л. Н., конечно, хорошо понимал истинную цену «толстовцев». Как-то в Ясной некто красноречиво рассказывал о том, как ему хорошо жить и как стала чиста душа его, приняв учение Толстого. Л. Н. наклонился ко мне и сказал тихонько: Все врет, шельмец, но это он для того, чтобы сделать мне приятное...

* * *

В городе явился «толстолец», — первый, которого я встретил, — высокий, жилистый человек, смуглолицый, с черной бородой козла и толстыми губами негра. Сутулясь, он смотрел в землю, но порою резким движением вскидывал лысоватую голову и обжигал страстным блеском темных, влажных глаз, — что-то ненавидящее горело в его остром взгляде. Беседовали в квартире одного из профессоров, было много молодежи и между нею — тоненький, изящный попик, магистр богословия, в черной шелковой рясе; она очень выгодно оттеняла его бледное, красивое лицо, освещенное сухонькой улыбочкой серых, холодных глаз.

Толстолец долго говорил о вечной непоколебимости великих истин евангелия; голос у него был глуховатый, фразы короткие, но слова звучали резко, в них чувствовалась сила искренней веры, он сопровождал их однообразным, как бы подсекающим жестом волосатой левой руки, а правую держал в кармане.

— Актер — шептали в углу, рядом со мною.

— Очень театрален, да...

А я незадолго перед этим прочитал книгу — кажется Дрепэра — о борьбе католицизма против науки, и мне казалось, что это говорит один из тех яростно верующих во спасение мира силою любви, которые готовы, из милосердия к людям, резать их и жечь на кострах.

Он был одет в белую рубаху с широкими рукавами и какой-то серенький, старый халатик поверх ее, — это тоже отделяло его от всех. В конце проповеди своей он вскричал:

— Итак — со христом вы или с Дарвином?

Он бросил этот вопрос, точно камень, в угол, где тесно сидела молодежь и откуда на него со страхом и восторгом смотрели глаза юношей и девушек. Речь его видимо очень поразила всех, люди молчали, задумчиво опустив головы. Он обвел всех горящим взглядом и строго добавил:

— Только фарисеи могут пытаться соединить эти два непримиримых начала и, соединяя их, постыдно лгут сами себе, развращают ложью людей...

Встал попик, аккуратно откинул рукава рясы и заговорил плавно, с ядовитой вежливостью и снисходительной усмешкой:

— Вы очевидно, придерживаетесь вульгарного мнения о фарисеях,^к оно же суть не тожко грубо, но и насквозь ошибочно...

К великому изумлению моему он стал доказывать, что фарисеи были подлинными и честными хранителями заветов иудейского народа и что народ всегда шел с ними против его врагов.

— Читайте, например, Иосифа Флавия...

Вскочив на ноги и подсекая Флавия широким, уничтожающим жестом, толстовец закричал.

— Народы и ныне идут с врагами своими против друзей, народы не по своей воле идут, их гонят, насилюют. Что мне ваш Флавий?

Попик и другие разодрали основную тему спора на мельчайшие частицы, и она исчезла.

— Истина, это — любовь, — восклицал толстовец, а глаза его сверкали ненавистью и презрением.

Я чувствовал себя опьяненным словами, не улавливал мысли в них, земля подо мною качалась в словесном вихре и часто, я с отчаянием думал, что нет на земле человека глупее и бездарнее меня.

А толстовец, отирая пот с багрового лица, свирепо закричал:

— Выбросьте евангелие, забудьте о нем, чтоб не лгать! Распните Христа вторично, это — честнее:

Предо мною стеной встал вопрос: как же? Если жизнь — непрерывная борьба за счастье на земле, — милосердие и любовь должны только мешать успеху борьбы?

Я узнал фамилию толстольца — Клопский, узнал, где он живет, и на другой день, вечером явился к нему. Жил он в доме двух девушек-помещиц, с ними он сидел в саду за столом, в тени огромной старой липы. Одетый в белые штаны и такую же рубаху, расстегнутую

на темной волосатой груди, длинный, угловатый, сухой—он очень хорошо отвечал моему представлению о бездомном апостоле, проповеднике истины.

Он черпал серебряною ложкой из тарелки малину с молоком, вкусно глотал, чмокал толстыми губами и, после каждого глотка, сдувал белые капельки с редких усов кота. Прислуживая ему, одна девушка стояла у стола, другая—прислонилась к стволу липы, сложив руки на груди, мечтательно глядя в пыльное, жаркое небо. Обе они были одеты в легкие платья сиреневого цвета и почти неразличимо похожи одна на другую.

Он говорил со мною ласково и охотно о творческой силе любви, о том, что надо развивать в своей душе это чувство, единственно способное «связать человека с духом мира»—с любовью, распыленной повсюду в жизни.

— Только этим можно связать человека! Не любя—невозможно понять жизнь. Те же, которые говорят: закон жизни—борьба, это—слепые души, обреченные на гибель. Огонь непобедим огнем, так и зло непобедимо силою зла!

Но когда девушки ушли, обняв друг друга в глубину сада, к дому, человек этот, глядя вслед им прищуренными глазами, спросил: — А ты—кто?

И выслушав меня, начал, постукивая пальцами по столу, говорить о том, что человек—везде человек и нужно стремиться не к перемене места в жизни, а к воспитанию духа в любви к людям.

— Чем ниже стоит человек, тем ближе он к настоящей правде жизни, к ее святой мудрости...

Я несколько усомнился в его знакомстве с этой «святой мудростью», но промолчал, чувствуя, что ему скучно со мной; он посмотрел на меня отталкивающим взглядом, зевнул, закинул руки на шею себе, вытянул ноги и, устало прикрыв глаза, пробормотал как бы сквозь дрему:

— Покорность любви...закон жизни...

Вдрогнув, взмахнул руками, хватаясь за что-то в воздухе, уставился на меня испуганно:

— Что? Устал я, прости!

Снова закрыл глаза и, как от боли, крепко сжал зубы, обнажив их; нижняя губа его опустилась, верхняя—приподнялась и синеватые волосы редких усов оцетинились.

Я ушел с неприязненным чувством к нему и смутным сомнением в его искренности.

Через несколько дней я принес рано утром булки знакомому доценту, холостяку, пьянице и еще раз увидел Клопского, Он, должно-быть, не спал ночь, лицо у него было бурое, глаза красны и опухли,—мне показалось, что он пьян. Толстенький доцент, пьяный до слез, сидел, в нижнем белье и с гитарой в руках, на полу среди хаоса сдвинутой мебели, пивных бутылок, сброшенной верхней одежды, сидел раскачиваясь и рычал:

— Милосердия...

Клопский резко и сердито кричал:

— Нет милосердия! Мы сгинем от любви или будем раздавлены в борьбе за любовь,—все едино: нам суждена гибель...

Схватив меня за плечо, ввел в комнату и сказал доценту:

— Вот—спроси его—чего он хочет? Спроси: нужна ему любовь к людям?

Тот посмотрел на меня слезящимися глазами и засмеялся:

— Это—булочник! Я ему должен.

Покачнулся, сунув руку в карман, вынул ключ и протянул мне:

— На, бери все!

Но толстовец, взяв у него ключ, махнул на меня рукою.

— Ступай! После получишь.

И швырнул булки, взятые у меня, на диван в углу.

Он не узнал меня и это было приятно мне. Уходя, я унес в памяти его слова о гибели от любви и отвращение к нему в сердце.

Скоро мне сказали, что он признался в любви одной из девушек, у которых жил и, в тот же день,—другой. Сестры поделились между собою радостью и она обратилась в злобу против влюбленного; они велели дворнику сказать, чтоб проповедник любви не медля убрался из их дома. Он исчез из города.

(Из книги «Мои Университеты», стр. 65—68).

Из Толстовской агиографии ¹⁾).

Подали чай. Я остался, по приглашению Софьи Андреевны. Пока сажались за стол и начали пить, Л. Н. снова ушел. За столом завязался оживленный разговор о патриотизме, о преимуществе заграницы перед Россией и, наконец, о земле, о помещиках и крестьянах. К этой теме, как я успел заметить, часто сводится разговор в большой столовой яснополянского белого дома. Говорили много и долго, спорили страстно и упорно. Сухотин, его жена и Сергеевны отмечали крайнее озлобление крестьян против помещиков и, вообще, господ.

— Русский мужик—трус!—возражал Андрей Львович.—Я сам видел, на моих глазах, пятеро драгун выпороли, по очереди, деревню из четырехсот дворов!..

— Крестьяне—пьяницы,—говорила Софья Андреевна,—войско стоит столько, сколько тратится на вино, это статистикой доказано. Они вовсе не оттого бедствуют, что у них земли мало.

Вошел Толстой. Разговор было замолк, но не больше, чем на полминуты.

Л. Н. сидел, насупившись, за столом и слушал. Поверх рубахи на плечи у него накинута была желтая вязаная куртка.

— Если бы у крестьян была земля,—тихо, но очень твердым голосом произнес он,—так не было бы здесь этих дурацких клумб,—

¹⁾ Агиография—жизнеописания святош, жизнь которых господствующим собственническим классам выгодно выставить на поклонение темных масс по политико-экономическим соображениям.

и он презрительным жестом показал на украшавшую стол корзину с прекрасными благоухающими гиацинтами. Никто ничего не сказал.

— Не было бы таких дурацких штук,—продолжал Л. Н.,—и не было бы таких дурашных людей, которые платят лакею десять рублей в месяц.

— Пятнадцать!—поправила С. А-на.

Ну, пятнадцать...

— Помещики — самые несчастные люди! — продолжала возражать С. А-на.—Разве такие граммофоны и прочее покупают обедневшие помещики? Вовсе нет! Их покупают купцы, капиталисты, ограбившие народ...

— Что же ты хочешь сказать,—произнес Толстой,—что мы менее мерзавцы, чем они?—и рассмеялся.

Все засмеялись. Л. Н. попросил Душана принести полученное им на-днях письмо и прочитал его.

В письме этом писалось приблизительно следующее:

«Нет, Л. Н., никак не могу согласиться с вами, что человеческие отношения исправятся одной любовью. Так говорить могут только люди хорошо воспитанные и всегда сытые. А что сказать человеку голодному с детства и всю жизнь страдавшему под игом тиранов? Он будет бороться с ними и стараться освободиться от рабства. И вот, перед самой вашей смертью, говорю вам, Л. Н., что мир еще захлебнется в крови, что не раз будет бить и резать не только господ, не разбирая мужчин и женщин, но и детишек их, чтобы и от них ему не дожидаться худа. Жалею, что вы не доживете до этого времени, чтобы убедиться воочию в своей ошибке. Желаю вам счастливой смерти».

Письмо произвело на всех сильное впечатление. Андрей Львович опустил голову к стакану и молчал. С. А-на решила, что если письмо из Сибири, то его писал ссыльный, а если ссыльный, то значит, разбойник.

— А иначе бы его и не сослали! — пояснялось при этом.

Ее пытались разубедить, но напрасно.

(В. Булгаков. «Лев Толстой в последний год его жизни»).

* * *

Александра Львовна ¹⁾ рассказывала моей жене;

Л. Н. гулял, встретил мужика, поговорил с ним хорошо, а потом мужик спрашивает:

— Можно пройти здесь лесом?

Л. Н. удивился:

— А что, разве кто не пускает?

— Да черкес ваш очень дерется.

Л. Н. жаловался Александре Львовне, что ему невыносимо тяжело все это.

(А. Гольденвейзер. «Вблизи Толстого», т. II, стр. 215).

¹⁾ Дочь Льва Ник. Толстого.

Тупик непротивленства.

То, что происходило вокруг него в Ясной Поляне, в особенности в области управления имением, было как будто нарочно рассчитано на то, чтобы все больше и больше огорчать, оскорблять и возмущать его в самых святых его чувствах. В своих отношениях с крестьянами С. А. не только не сдерживала себя из деликатности к своему мужу, но как бы на зло ему поступала особенно несправедливо и бессердечно¹⁾. При этом она то старалась внушать крестьянам, что действует с согласия и одобрения самого Л. Н-ча, то высокомерно заявляла им, что его заступничество не влияет на ее распоряжения. Можно себе представить, как невыразимо мучительно все это было для него. Достаточно вспомнить, как он рыдал, когда случайно наткнулся на конного объезчика, тащившего застигнутого в господском лесу яснополянского старика-крестьянина, которого Л. Н. близко знал и уважал. Хорошо понимая, что своим уходом он несколько не улучшил бы положения крестьян, Л. Н. продолжал относиться к подобным зрелищам как к назначенному ему тяжелому испытанию, ограничиваясь тем, что горячо протестовал при каждом возможном случае.

Так же, как на испытание, продолжал он смотреть и на фальшивое положение перед общественным мнением, в которое он был поставлен своей казавшейся солидарностью с тем, что делалось вокруг него в Ясной Поляне. По этому поводу он не только продолжал получать ругательные письма, принимавшиеся им, как полезное упражнение в смирении, но от времени до времени к нему с обличениями и увещаниями обращались и благожелатели. Характерен написанный Л. Н-чем в начале 1919 г. ответ одному неизвестному студенту, письменно уговаривавшему его покинуть его господскую обстановку: «Ваше письмо тронуло меня»,—писал Л. Н.,—«то, что вы мне советуете сделать, составляет заветную мечту мою! Что я живу в семье с женою и дочерью в ужасных постыдных условиях роскоши среди окружающей нищеты,—не переставая и все больше и больше мучает меня; и нет дня, чтобы я не думал об исполнении вашего совета».

(В. Г. Чертков. «Уход Толстого», стр. 29—32).

¹⁾ В начале 80-х г.г. прошлого столетия у Л. Н-ча стало складываться его отрицательное отношение к собственности вообще и к земельной в особенности,—отношение, которое только несколько позже у него вполне выяснилось и окончательно утвердилось. От всякой собственности лично для себя он отказался в 1895 г., поступив так, как-будто он в этой области умер, а именно предоставив владение всей бывшей собственностью тем, кто считал себя его наследниками, т.-е. своей семье. После этого С. А. стала управлять яснополянским имением, а дети его поделили между собой землю и капитал. Со стороны Толстого—такая юридическая инсценировка—была дешевеньким либеральным жестом. Граф Толстой сам продолжал проживать в этом же имении,—тем же баринотом—помещиком.

Во христе юродствующие и юродивые.

В. Г. Чертков.

Семья Владимира Григорьевича Черткова принадлежит к старинной, аристократической знати, насчитывающей столетия своей родословной.

Мать Черткова—фрейлина Александры Федоровны, одна из ближайших ее наперсниц. В то же самое время она убежденная сектантка «пашковского» или «евангельского толка», секты, которая тогда имела большое распространение в аристократических кругах Петербурга.

Отец его был генерал-ад'ютантом.

Поместья их охватывали чуть ли не всю Воронежскую губернию. В семье Черткова доминирует религиозное настроение.

Владимир Григорьевич, паж, потом желтый кирасир, однокашник Трепова¹⁾, так же, как и тот, с детства привыкший властвовать, ставить свои личные переживания выше интересов других людей, рассматривающий себя, как центр.

Вот что рассказывал мой отец о том событии, которое вышибло Владимира Григорьевича из седла, которое изменило весь его жизненный путь, путь командира полка с флигель-ад'ютантскими вензелями на погонах...

На одном из придворных балов молодой офицер Владимир Чертков, высокий, могучий, с породистой головой и большими синими глазами, был замечен царицей, которая блистала своими перезрелыми прелестями, и когда она проходила мимо него, то приколола ему голубую незабудку в желтую петлицу кирасирского мундира.

Чертков знал, что это значит, но с детства воспитанный в религиозных чувствах, не дожидаясь положенного часа раз'езда, уехал из дворца к себе и написал рапорт об отставке. Просьба родных и знакомых не помогла.

Уже в этом поступке проявилась та самая воля, которая характерна для Черткова. Эта наследственная, аристократическая черта, приобретаемая поколениями на протяжении столетий, когда помещики привыкли к тому, чтоб сотни и тысячи крепостных беспрекословно выполняли все их желания.

С выходом в отставку и начинается то перерождение Черткова в отношении понимания смысла жизни, которое в результате привело его к Толстому.

Среди лиц, окружавших Толстого, Чертков был ближе и роднее Толстому, чем кто-либо другой. Одинаковое аристократическое происхождение, одинаковые связи с тем миром, из которого они ушли, так похожий переход от офицерства к блузе, все переживания их так близки, что создают особенное чувство, на протяжении всего их общения сближающее Льва Николаевича с Чертковым.

¹⁾ Трепов—министр, известен своей фразой о подавлении революции в 1905 г.: „Патронов не жалеть“.

Толстого привлекает к Черткову еще и то, что он, по существу, гораздо последовательнее самого Льва Николаевича.

Толстой находился в противоречии со своей женой Софьей Андреевной, которая отстаивала художественное направление его творчества в противовес Черткову, толкавшему его на путь сектантства.

Софья Андреевна, происходившая из бедной разночинной семьи доктора Берс и вышедшая 13 лет замуж за севастопольского героя-офицера, пожившего графа Толстого, художника, перед которым она преклонялась, не могла мириться с той переменой во Льве Николаевиче, которая привела его к сенокосу, пахоте, опоркам на босу ногу, вместо ожидаемой ею блестящей совместной жизни с выдающимся писателем.

«Графами родились, графами и жить должны».

Одна из первых подписей Черткова на воззвании «Помогите», высылка, активная работа по организации переселения духоборов, организация издательства «Свободное слово» в Лондоне для печатания религиозных сочинений Толстого, перевод их на иностранные языки—все это сближало их.

Воздействие на Льва Николаевича в направлении углубления его религиозного творчества, стремление окружить Толстого ему, Черткову, нужным людьми для изоляции Толстого от чуждого влияния—вот те деяния Черткова, которые привели к тому, что от Толстого была отодвинута вся современная ему политическая жизнь. Но чувство великого художника, не угасшее в Толстом, властно требовало от Льва Николаевича общения с людьми, особенно с крестьянством; и вот в Телятниках, имении Черткова, создается общество из крестьянских молодых парней, которые должны изображать из себя представителей народных масс.

Живут они припеваючи, кормят и поят их с барского—чертковского—стола; для них выстраивается большая зала, соединяющая два дома, в которой по руководством Владимира Григорьевича им читаются евангельские и другие религиозные сочинения Толстого.

Парни лускают семечки, спят во время проповедей, а вечерами разбегаются по окрестным деревням и хулиганят.

Все это преподносится Чертковым, как великое народное движение, идущее по религиозному пути.

Постепенно около Черткова собирается большая группа лиц, которые переключиваются в Телятники, где заменяют юродивых и приживальщиков, так присущих старинным дворянским имениям.

Все они не имеют ни службы, ни заработка, и свободная, вольготная жизнь около и на средства Черткова требует от них только безусловного подчинения и выполнения воли кормящего их.

Покойного отца моего это сильно возмущало. Он никак не мог мириться с тем, по его мнению, пагубным влиянием, которое Чертков как через себя, так и через окружающих его лиц, оказывал на Толстого.

Это бесцельное прозябание здоровых парней в Телятниках, бессмысленная трата на оборудование зала, в котором происходило

«натаскивание» 18—20 парней, получило от него определение для Черткова: «барин», «чего моя нога хочет».

Б у л а н ж е.

Павел Александрович—большая и характерная фигура среди толстовцев в конце 90 годов.

Не любят они вспоминать о нем, а стоит это сделать, потому что сценическая завязка «Живого труп» взята Львом Николаевичем из его жизни. Один из заправил у фон-Мекка на Казанской жел. дороге, сухой, всегда в сюртуке, золотых очках, лысеющий, с маленькой козлиной бородкой—таков Павел Александрович Буланже.

Он один из ближайших «друзей» Толстого, энергичный, практически широко образованный, он необходим в эти годы, так как идет переселение духовоборов в Канаду, и его практический опыт используется в этом направлении.

Павел Александрович говорит мало, для него все вопросы уже решены тем или другим отношением к ним Толстого.

За это любит его Лев Николаевич, и это создает ему уважение среди толстовцев.

Но это на людях, а в глубине, под черным сюртуком, живет и бьется другое.

Там живы воспоминания юности.

Веселая компания товарищей, лихач, хорошенькая женщина и беззаботные займы на оплату нечастого проигрыша, потому что в карты «чертовски везет». А впереди рисовалась такая спокойная, легкая и беззаботная жизнь, практика, потом служба в правлении дороги и жена с хорошим приданым. Ну, а жизнь перетасовала карты.

Уж очень много было людей с такими стремлениями, надо было еще чем-то выделяться, диплома было мало.

Фрондировать революционным настроением,—это могло плохо окончиться, надо было подыскать что-то другое—безопасное со стороны правительства, но создающее в обществе отношение, как к человеку особенному. Самое подходящее—это толстовство, не обязывающее ни к чему, не ставящее никаких формальных запретов к спокойному, сытому существованию.

И вот женщина на стороне.

А затем так приятно, пройдя в золотую комнату клуба, смотреть как передвигаются золотые кружки от банкомета к понтеру. Отчего бы не попробовать, прежде так везло, ну и попробовал.

Сперва свои деньги проиграл, взял немного казенных, тоже проиграл, а расходы большие. С одной стороны—жена, дети, со всей надоедливой прозой семейной жизни, а с другой стороны—она, которая давала возможность полностью насладиться «красотой» жизни. Все это требовало больших и больших денег.

А проигрыш все рос. Надо было выходить из положения.

В письменном столе, в кабинете правления лежат сорок тысяч, собранных мелкими служащими для постройки школы.

В этот вечер опять девятка за девяткой банкомета была все карты, и к утру от сорока тысяч осталось лишь столько, чтобы бежать за границу.

Заехав домой, захватил чемодан с вещами. На окраине, на берегу реки Москвы передел одежду, положил на берегу сверху письмо: «Прошу в смерти моей никого не винить».

Так и утонул Павел Александрович навсегда для судебных властей, а для «друзей» выплыл за границей, где и плавал в качестве политического эмигранта до 1917 г.

Вынырнул он на поверхность в 1918 году, когда с большими мандатами что-то собирался насаждать в деревне... и снова деньги, деньги и деньги... Пока кто-то, где следует, не сказал об его прошлом.

Павла Александровича никто «не винил», его лишь «жалели». «Ну, разве можно побороть беса. Важно понять, что сделал зло и раскаяться в этом, просить бога дать ему для борьбы со злом силу».

Нет человека без греха, но раскаявшемуся простится; величайший же грех—это защита зла, и поэтому толстовцы собирали деньги не для покрытия растраченных сорока тысяч рублей, собранных мелкими служащими из своего заработка, а для Буланже и посылки ему за границу.

А. П. Алексеев—непротивление.

Среди толстовцев, работающих в «Посреднике», был некий Алексеев, жил он недалеко от нас, в маленьком деревянном доме.

Я иногда ходил к нему с разными поручениями от отца.

В квартире А. П. стояла невероятная грязь, всюду в углах были насыпаны обеды, кухня и близлежащие комнаты были наполнены бесконечным количеством тараканов, которые, двигаясь по стене в кухне создавали впечатление живой движущейся стены.

Если тихо посидеть в комнате, то по полу начинали сновать мыши, которые с писком возились в приготовленных для них отбросах в углах. А. П. частенько чесывал у себя за воротником. Когда я его спросил, почему он не примет мер для вывода тараканов, мышей и пр., то он с ужасом сказал:

— Ах, боже мой, ведь это—убийство, каждый таракан, каждая мышь, это—живые существа, и потому убить их я не имею права. Не я им дал жизнь, да я и не могу дать жизни, это же все воплощение одного и того же бога, как мы с вами.

Так и продолжали бегать мыши, тараканы, клопы, пока не принялась за них прислуга, которая в отстутствии А. П. всех этих божьих творений—кого обдала кипятком, кому насыпала битых стекол в норы, после чего имела чуть ли не баталию с самим Александром Петровичем и была уволена.

Берти и Том—«предтеча и спаситель».

Высокий, худой, с вечно опущенной головой, обросшей жесткой, колючей бородой, таков Том. Бывший английский офицер

индийских войск. Он был всегда сумрачен и не разговорчив, никогда не смотрел в глаза, и поэтому ни цвета, ни выражения глаз узнать было нельзя. Говорил он резко.

Совершенно другой был Берти. С прекрасным профилем, с большим открытым лбом, с каким-то особенным блеском больших голубых детских глаз, он всегда был весел и жизнерадостен, не то клерк, не то художник, уже сейчас не помню.

Оба они без копейки денег из Англии приехали к Толстому. Ехали они, собирая деньги фразой: по-русски они выговаривали ее «бо! есть лубов». «Мы—Толстой». И вот через Париж и Варшаву, произнося на разных языках только это, они собирали на вокзале или в вагоне деньги и доехали до Ясной, а оттуда с запиской Софьи Андреевны были направлены к моему отцу на жительство.

Так они жили около недели, дожидаясь вторичного приема их в Ясной. Но Лев Николаевич в это время заболел, и прием все откладывался. Тогда они решили путем веры и молитвы к богу исцелить Толстого. Заперлись у себя в комнате и выходили из нее только для принятия пищи.

Нас, подрастающее поколение, такое поведение англичан заинтересовало. Окна комнат, в которых они жили, выходили в сад, и можно было наблюдать, что они делают.

Берти стоял на коленях, поднявши руки кверху, Том—против него, повидимому, смотря в глаза Берти. Потом Берти начинал медленно подниматься кверху, руки их смыкались, и они начинали делать движения наподобие гимнастических, которые становились все быстрее и быстрее. В то же самое время Берти отступал к кровати, на которую и падал, после чего Том начинал какие-то пассы над его лицом; повидимому, Берти засыпал, Том же становился на колени около постели и, как нам казалось, молился. Все это мы рассказывали старшим. Отец спросил их, в чем дело, и вот тут то оказалось, что Том, это—христос, а Берти, это—тот, который пришел возвестить миру об этом, в то же время являя собою человека, через душу которого душа Тома должна была переселиться в тело Льва Николаевича. Но все это настолько подходило под общий тон толстовских разговоров, что это не поразило ни отца, ни тех толстовцев, которые продолжали вести с ними разговоры на различные темы. И только после того, как Том погнался за одной из моих сестер, они были выселены и переехали в имение к Шерр¹⁾. Туда был приглашен доктор-психиатр, ныне профессор Канибах, который констатировал у Тома сумасшествие, у Берти острое нервное расстройство, после чего они были помещены в психиатрическую больницу, где Том и умер, а Берти, по выздоровлении был отправлен Шерром в Англию.

(Из записей «Люди и людская пыль вокруг Л. Толстого» Б. Дунаева, в течение 20 лет тесно соприкасавшегося с толстовцами).

¹⁾ В. В. Шерр, в то время социал-демократ меньшевик, при временном правительстве был товарищем министра у Верховского.

КНУТ ГАМСУН¹⁾.

О Толстом.

Мысли мои переходят на Толстого, и я не могу подавить в себе подозрения, что в жизнь этого великого писателя вкралось нечто поддельное, ложное. Первоначально это могло произойти от искреннего чувства беспомощности; но сильный человек должен был остановиться на чем-нибудь, и вот, когда все радости земные были исчерпаны, Толстой, со свойственной ему силой, отдался религиозному ханжеству. Правда, вначале он как бы играл немножко этим, но он был слишком силен, чтобы остановиться, и эта игра превратилась в его привычку, может-быть, даже в его натуру. Опасно начинать игру. Генрик Ибсен довел игру до того, что годами в определенный час сидел сфинксом на определенном стуле в определенном кафе в Мюнхене. А уж потом ему пришлось продолжать эту игру; куда бы он ни приезжал, ему всюду приходилось сидеть сфинксом напоказ людям в определенное время и на определенном стуле. Потому что люди ждали его. По всей вероятности, это было для него иногда очень мучительно; но он был слишком силен, чтобы прекратить эту игру. Ах, что это за силачи, Толстой и Ибсен! Многие другие не могли бы вести подобной игры более недели. А может-быть, оба они проявили бы более силы, если бы во-время остановились. К сожалению, они теперь возбуждают насмешку как у меня, так и у других обыкновенных людей. Ну, что же, они достаточно велики, чтобы перенести это; и мы сами будем предметом насмешек в свою очередь. Но если бы они были более велики, то они, может-быть, не относились бы к самим себе так серьезно. Они улыбулись бы слегка своему собственному многолетнему чудачеству. То обстоятельство, что они внушают другим, а в конце-концов и самим себе, что их игра является для них необходимостью, доказывает недостаток в их личности, что и делает их меньше, унижает их. Для того, чтобы заплатить эту прореху, необходимо великое произведение. Чтобы позировать—надо стоять на одной ноге, а естественное положение—это стоять на двух ногах без всякого жеманства.

«Война и мир», «Анна Каренина»—более великих произведений в своем роде никто не создавал. И нет ничего удивительного в том, что впечатлительный коллега даже на своем смертном одре просил великого писателя создать еще больше таких произведений. Размышляя над всем этим, я с радостью понимаю и с радостью готов простить Толстому его отвращение к созданию самых

¹⁾ Гамсун Кнут—псевдоним знаменитого норвежского писателя Кнута Педерсена (р. 1860). В 1920 г. получил нобелевскую премию по литературе. В его произведениях (все они переведены на русский язык, за исключением последнего романа) наряду с тонким лиризмом звучит очень часто струя грубоватой, но меткой и язвительной иронии, направленной против мещанства. Ред.

великолепных художественных произведений для человечества. Поставлять изящную литературу могут другие, кто чувствует себя хорошо при этом, кто высоко ставит эту деятельность и находит в ней великую честь. Но против чего я по своему разумению восстаю, так это против тщеславной попытки великого писателя сочинять философию, мышление. Вот это-то и искажает его положение в позу. Он разделяет участь Ибсена. Ни тот ни другой не мыслители, но оба они стоят на одной ноге и хотят быть мыслителями. Они думают, что это придает им больше цены. И вот мы, остальные, при всей своей незначительности, смеемся над ними,—что они при своем величии прекрасно переносят. Мышление—это одно, а резонерство—это другое. А размышление—третье; но в этом отношении есть много различных родов проявления человеческой мысли.

Философия Толстого—это смесь старых избитых истин и поразительно несовершенных собственных измышлений...

Кто жил достаточно долго, чтобы помнить семидесятые годы, тот знает, какая перемена произошла с писателями, начиная с этого времени. До этого они были певцами, выразителями настроения, поветствователями,—а потом они увлеклись духом времени и стали работниками, воспитателями, реформаторами. Эта английская философия с ее стремлением к практической пользе и счастью начала руководить людьми и преобразовывать литературу. И вот появилось творчество без особенной фантазии, в котором зато было много старания и много здравого смысла. Можно было писать обо всем, что только окружало обыкновенного человека, лишь бы оставаться «верным действительности», и это создало множество великих писателей во всех странах. Литература раздулась, она популяризировала науку, занималась общественными вопросами, преобразовывала учреждения. В театре можно было видеть спинной хребет доктора Ранка и мозг Освальда, окруженные драматическим ореолом; а в романах было еще больше свободного простора, простора даже для обсуждения ошибок в переводе библии. Писатели превратились в людей, у которых было наготове мнение обо всем; читатели спрашивали друг друга, что Зола открыл в законах наследственности, что Стриндберг открыл в химии. Все это привело к тому, что писатели заняли в жизни такое место, какого никогда раньше не занимали. Они стали вождями наций, они знали все, поучали всему. Журналисты интервьюировали их, узнавая их мнение о вечном мире, о религии, о всемирной политике, и если в иностранных газетах иногда появлялась заметка о них, то отечественные газеты видели в этом доказательство молодечества их писателей. В конце-концов люди проникались убеждением в том, что их писатели—завоеватели мира, которые проникали в самую глубину духовной жизни известной эпохи и приучали народ к мышлению. Это повседневное бахвальство должно было под конец оказать известное действие на людей, которые уже и без того были склонны к позировке. «Что за молодчина из тебя вышел!»—говорили они, наверное, самим себе. Но ведь об этом пишут во всех газетах и говорят все люди, значит,

это верно! А так как у народов не было других подходящих людей, то писатели и превратились в мыслителей. И они заняли это место без всяких возражений и даже не улыбнулись. Они быть-может, обладали философской начитанностью в той мере, в которой обладает ею всякий человек с средним образованием, и с этой-то подготовкой, как с основанием, они стали на одну ногу, наморщили лоб и стали возвещать человечеству философию.

Так, по всей вероятности, все это и случилось в коротких словах, а раз игра была начата, то приходилось продолжать ее. Хотя прекращение такой игры гораздо более служило бы доказательством силы.

Даже такой великий писатель, как Толстой, не избег участия и унизил себя, сделавшись мыслителем. Очень может быть, что его врожденная склонность к этой профессии представляется другим гораздо менее значительной, нежели ему самому; не знаю, что на этот счет думают другие, но я допускаю это. Время от времени в газетах появляются различные цветы его мышления, а кроме того он пишет книги, в которых излагает свое мнение относительно жизни земной и жизни грядущей. Несколько лет тому назад он обнародовал свое знаменитое учение об абсолютном целомудрии, о полном половом воздержании. Когда на это учение возразили, что на земле в таком случае люди вымерли бы, то мыслитель ответил: «Да, в этом-то вся и суть, пусть люди вымрут!»—Ах, старое учение!

Один маленький эскиз Толстого носит заглавие: «Много ли человеку земли нужно?» Речь идет об одном крестьянине, Пахоме, который находит, что у него слишком мало земли, и потому прикупает пятнадцать десятин. Через некоторое время у него возникают ссоры с соседями, после чего он принимает решение прикупить еще и их землю, и вот он становится маленьким помещиком. Прошло еще некоторое время, и к Пахому приходит один крестьянин с Волги и рассказывает ему, как там хорошо живет ся крестьянам, сколько земли они получают даром и на сколько тысяч рублей в год они продают пшеницы. Пахом отправляется на Волгу. Здесь он действительно не встречает никаких затруднений и получает землю в большом количестве; но в своем стремлении получить все больше и больше земли он окончательно выбивается из сил. В один прекрасный день его рабочие находят его мертвым в поле. Так он там и свалился. Они вырыли своему хозяину могилу—а могила была длиной лишь в два метра. И вот мыслитель говорит, что столько земли и нужно человеку, т.-е. два метра на могилу.

Может быть, было бы вернее сказать, что двух метров земли слишком мало для одного человека; но для трупа этого достаточно. Пожалуй, еще верней было бы сказать, что даже и этих двух метров человеку не нужно. Во-первых, потому, что труп перестает быть человеком, а во-вторых, потому, что труп может обойтись и без погребения. И мыслитель может получить обратно свои два метра.

Вот еще маленький образец философии Толстого: один человек был недоволен своей судьбой и роптал на господ. Он сказал: «Милосердный бог дает другим богатства, а мне ничего не дает. Как мне пробиться в жизни, раз у меня ничего нет?». Один старец услышал эти слова и сказал:—«Неужели ты так беден, как тебе это кажется? Разве бог не дал тебе молодость и здоровье?» Да, этого человек не мог отрицать, он был и молод и здоров. Тогда старец взял человека за правую руку и сказал:—«Позволишь ли ты отрубить эту руку за тысячу рублей?». Нет, на это человек не соглашался. «Ну, а левую?».—«Конечно, нет!».—«Но позволил ли бы ты лишиться глаза свои света за десять тысяч рублей?».—«Нет, боже меня упаси!». Конечно, человек и на это не согласился. Тогда старец сказал: «Вот видишь,—сказал он;—какие богатства дал тебе господь, а ты еще ропщешь!».

Допустим, что это был бедный человек без правой руки, без левой руки, без глаз, стоящих десять тысяч рублей,—и вот к нему приходит старец и говорит: «Ты беден? Но у тебя есть желудок в пятнадцать тысяч рублей и спинной хребет приблизительно в двадцать тысяч!»

Толстой не лишен известной логики. Если он берется за что-нибудь, то ведет свою линию и делает именно тот вывод, какой ему нужен. Он не лишен и органов. Но самый центр мышления у него пуст. У ладьи есть весла и оснастка; но в ней нет гребца.

А может быть, я сам лишен всякой способности разобраться во всем этом. В таком случае мое мнение не имеет никакого значения,—это только мое личное мнение. Я нахожу даже, что можно найти еще худшее философское убожество, нежели рассуждения Толстого.

Но он гораздо симпатичнее других своих коллег, играющих в мыслителей. Потому что душа его так безгранично богата и так охотно раскрывается. Он не замыкает своих уст после первых десяти слов и не заставляет отгадывать скрытые за ними непостижимые глубины; он все говорит и говорит красноречивыми словами, предостерегая и назидая: истинно говорю вам! Он вовсе не заботится о том, чтобы не сказать свету лишнего, дабы свет мог только заглянуть в его душу; он говорит более чем охотно. И в голосе его нет аффектации. Его голос глубокий и сильный. Толстой—древний пророк, вот что он. И в наше время нет ему равного.

И люди могут прислушиваться к его словам, взвешивать их и отводить им надлежащее место. Или же слова эти могут служить для них поучением. И это возможно. Если людям только безразлично, что их понятия о земном, возможном и разумном так беззастенчиво извращают.

(Из книги «В сказочной стране»).

М. Е. Салтыков-Щедрин. 1).

Карась-идеалист.

Карась с ершом спорил. Карась говорил, что можно на свете одною правдою прожить, а ерш утверждал, что нельзя без того обойтись, чтоб не слукавить. Что именно разумел ерш под выражением: «слукавить» — неизвестно, но только всякий раз, как он эти слова произносил, карась в негодовании восклицал:

— Но ведь это подлость!

На что ерш возражал:

— Вот уж увидишь!

Карась — рыба смиренная и к идеализму склонная не даром его монахи любят. Лежит он больше на самом дне речной заводи (где потише) или пруда, зарывшись в ил, и выбирает оттуда микроскопических ракушек для своего продовольствия. Ну, натурально, полежит-полежит, да что-нибудь и выдумает. Иногда даже и очень вольное. Но так как караси ни в цензуру своих мыслей не представляют, ни в участке не прописывают, то в политической неблагонадежности их никто не подозревает. Если же иногда и видим, что от времени до времени на карасей устраивается облава, то отнюдь не за вольнодумство, а за то, что они вкусны.

Ловят карасей по преимуществу сетью или неводом; но чтобы ловля была удачна, необходимо иметь сноровку. Опытные рыбаки выбирают для этого сейчас вслед за дождем, когда вода бывает мутна, и затем, заводя невод, начинают хлопать по воде канатом, палками и вообще производить шум. Заслышав шум и думая, что он возвещает торжество вольных идей, карась снимается со дна и начинает справляться, нельзя ли и ему как-нибудь пристроиться к торжеству. Тут-то он и попадает во множестве в мотню, чтобы потом сделаться жертвою человеческого чревоугодия. Ибо, повторяю, караси представляют такое лакомое блюдо (особенно изжаренные и в сметане), что предводители дворянства охотно потчуют ими даже губернаторов.

Что касается до ершей, то эта рыба уже тронутая скептицизмом и при том колючая. Будучи сварена в ухе, она дает бесподобный бульон.

Каким образом случилось, что карась с ершом сошлись, — не знаю; знаю только, что, однажды сошедшись, сейчас же заспорили.

¹⁾ Настоящее произведение М. Е. Салтыкова-Щедрина (1826—1889) принадлежит к циклу его знаменитых сатирических «сказок», вышедших в 1880—85 г. г., когда толстовство представляло уже заметную струю в умонастроении либеральной интеллигенции. Сказка эта, направленная против всякой прекраснородной обывательщины, убийственно высмеивает самую «изюминку» толстовства, его елейную проповедь «братолюбия», которая в жестокой классовой борьбе, раздирающей капиталистическое общество, служит только интересам «шук». Жалкий конец «карася» — это предостережение для тех трудящихся, кто еще не до конца раскусил смысл толстовской, сектантской, вообще, шантажно-религиозно-церковной любви (Р е д.).

Поспорили раз, поспорили другой, а потом и во вкус вошли, свидания друг другу стали назначать. Сплывутся где-нибудь под водяным лопухом и начнут умные речи разговаривать. А плотва-белобрюшка резвится около них и ума-разума набирается.

Первым всегда задирает карась.

— Не верю,—говорил он,—чтобы борьба и свара были нормальным законом, под влиянием которого будто бы суждено развиваться всему живущему на земле. Верю в бескровное преуспевание, верю в гармонию и глубоко убежден, что счастье—не праздная фантазия мечтательных умов, но рано или поздно делается общим достоянием.

Дождись!—иронизировал ерш.

Ерш спорил отрывисто и беспокойно. Это—рыба нервная, которая, повидимому, помнит не мало обид. Накипело у нее на сердце... ах, накипело! До ненависти покуда еще не дошло, но веры и наивности уж и в помине нет. Вместо мирного жития, она повсюду распрю видит, вместо прогресса—всеобщую одичалость. И утверждает, что тот, кто имеет претензию жить, должен все это в расчет принимать. Карася же считает «блаженненьким», хотя в то же время сознает, что с ним только и можно «душу отводить».

— И дождусь!—отзывался карась,—и не я один—все дождутся. Тьма, в которой мы плаваем, есть порождение горькой исторической случайности; но так как ныне, благодаря новейшим исследованиям, можно эту случайность по косточкам разобрать, то и причины, ее породившие, нельзя уже считать неустраняемыми. Тьма—совершившийся факт, а свет—чаемое будущее. И будет свет, будет.

— Значит, и такое, по-твоему, время придет, когда и шук не будет?

— Каких таких шук?—удивился карась, который был до того наивен, что когда при нем говорили: «на то щука в море, чтоб карась не дремал», то он думал, что это что-нибудь вроде тех нимф и русалок, которыми малых детей пугают, и, разумеется, ни крошечки не боялся.

— Ах, фофан ты фофан! Мировые задачи разрешать хочешь, а о щуках понятия не имеешь!

Ерш презрительно пошевеливал плавательными перьями и уплывал во-свояси; но, спустя малое время, собеседники опять где-нибудь в укромном месте сплывались (в воде-то скучно), и опять начинали диспутировать.

— В жизни первенствующую роль добро играет,—разглагольствовал карась:—зло—это так, по недоразумению, допущено, а главная жизненная сила все-таки в добре замыкается.

— Держи карман!

— Ах, ерш, какие ты несообразные выражения употребляешь! «Держи карман!»—разве это ответ?

— Да тебе, по-настоящему, и совсем отвечать не следует. Глупый ты—вот тебе и сказ вес!

— Нет, ты послушай, что я тебе скажу. Что зло никогда не было жидущей силой—об этом и история свидетельствует. Зло душило, давило, опустошало, предавало мечу и огню, а жидущей силой являлось только добро. Оно устремлялось на помощь угнетенным; оно освобождало от цепей и оков; оно пробуждало в сердцах плодотворные чувства; оно давало ход парениям ума. Не будь этого, воистину жидущего фактора жизни—не было бы и истории. Потому что ведь, в сущности, что такое история? История—это повесть освобождения, это рассказ о торжестве добра и разума над злом и безумием.

— А ты, видно, доподлинно знаешь, что зло и безумие посрамлены?—подтрунивал ерш.

— Не посрамлены еще, но будут посрамлены—это я тебе верно говорю. И опять-таки сошлюсь на историю. Сравни, что некогда было, с тем, что есть,—и ты без труда согласишься, что не только внешние приемы зла смягчились, но и самая сумма его приметно уменьшилась. Возьми хоть бы нашу рыбную породу. Прежде нас во всякое время ловили, и преимущественно во время «хода», когда мы, как одурелые, сами прямо в сеть лезем; а нынче именно во время «хода»-то и признается вредным нас ловить. Прежде нас, можно сказать, самыми варварскими способами истребляли—в Урале, сказывают, во время багрения вода на многие версты от рыбьей крови красная стояла, а нынче—шабаш. Неводы да верши, да уды—больше чтобы ни-ни! Да и об этом еще в комитетах рассуждают: какие неводы? по какому случаю? на какой предмет?

— А тебе, видно, не все равно, каким способом в уху попасть?

— В какую такую уху?—удивлялся карась.

— Ах, прах тебя побери! Карасем зовется, а об ухе не слыхал! Какое же ты после этого право со мной разговаривать имеешь? Ведь, чтобы споры вести и мнения отстаивать, надо, по малой мере, с обстоятельствами дела наперед познакомиться. О чем же ты разговариваешь, коли даже такой простой истины не знаешь: что каждому карасю впереди уготована уха? Брысь!.. заколю!

Ерш ошетикивался, а карась быстро, насколько позволяла его неуклюжесть, опускался на дно. Но через сутки друзья-противники опять сплывались и новый разговор затевали.

— Намеднись в нашу заводь щука заглядывала,—объявлял ерш.

— Та самая, о которой ты намеднись упоминал?

— Она. Приплыла, заглянула, молвила: «Что-то будто уж слишком здесь тихо! Должно быть, тут карасям вод?»... И с этим уплыла.

— Что же мне теперича делать?

— Изготавливаться—только и всего. Уже, как приплывет она, да уставится в тебя глазищами, ты чешую-то да перья подбери поплотнее, да прямо и полезай ей в хайло!

— Зачем же я полезу? Кабы я был в чем-нибудь виноват...

— Глуп ты—вот в чем твоя вина. Да и жирен вдобавок. А глупому да жирному и закон повелевает щуке в хайло лезть! —

— Не может такого закона быть!—искренно возмущался карась.—И щука зря не имеет права глотать, а должна прежде объяснения потребовать. Вот я с ней объяснюсь, всю правду выложу. Правдою-то я ее до седьмого пота прошибу.

— Говорил я тебе, что ты фофан, и теперь то же самое повторяю: фофан! фофан! фофан!

Ерш окончательно сердился и давал себе слово на будущее время воздержаться от всякого общения с карасем. Но через несколько дней—смотришь—привычка опять взяла свое.

— Вот, кабы все рыбы между собой согласились...—загадочно начинал карась.

Но тут же и самого ерша брала оторопь.

«О чем это фофан речь заводит?—думалось ему:—того гляди, провретсЯ, а тут головель неподалеку похаживает. Ишь, и глаза в сторону, словно не его дело, скосил, а сам, знай, прислушивается».

— Не хочу я шептаться,—продолжал карась невозмутимо:—а говорю прямо, что ежели бы все рыбы между собой согласились, тогда...

Но тут ерш грубо прервал своего друга.

— С тобой, видно, гороху наевшись говорить надо!—кричал он на караса и, наостривши лыжи, уплывал от него во-свояси.

И досадно ему, да и жалко караса было. Хоть и глуп он, а все-таки с ним одним по-душе поговорить можно. Не разболтает он, не предаст—в ком нынче качества-то эти сыщешь? Слабое нынче время,—такое время, что на отца и матью надеяться нельзя. Вот плотва, хоть и нельзя о ней прямо что-нибудь худое сказать, а все-таки, того и гляди, не понимаючи, сболтнет! А о головлях, язях, линиях и прочей челяди и говорить нечего! За червяка присягу под колоколами принять готовы! Бедный карась! ни за грош он между ними пропадет!

— Посмотри ты на себя,—говорил он карасю:—ну, какую ты, неровен час, оборону из себя представить можешь? Брюхо у тебя большое, голова малая, на выдумки негоразд, рот—чутошный. Даже чешуя на тебе—и та несерьезная. Ни проворства в тебе, ни юркости—как есть увалень! Всякий, кто хочет, подойди к тебе и ешь!

— Да за что же меня есть, коли я не провинился?—попрежнему упорствовал карась.

— Слушай, дурья порода. Едят-то разве «за что»? Разве потому едят, что казнить хотят? Едят потому, что есть хочется—только и всего. И ты, чай ешь. Не попусти носом-то в иле роешься, а ракушек вылавливаешь. Им, ракушкам, жить хочется, а ты, простофиля, ими мамон с утра до вечера набиваешь. Сказывай: какую такую они вину перед тобой сделали, что ты их ежеминутно казнишь? Помнишь, как ты намеднись говорил: «вот, кабы все рыбы между собой согласились»... А что, если бы ракушки между собой согласились—сладко ли бы тебе, простофиле, тогда было?

Вопрос был так прямо и так неприятно поставлен, что карась сконфузился и слегка покраснел.

— Но ракушки—ведь это...—пробормотал он смущенно.

— Ракушки—ракушки, а караси—караси. Ракушками караси лакомятся, а карасями—щуки. И ракушки ни в чем неповинны, и караси не виноваты, а и те и другие должны ответ держать. Хотя сто лет об этом думай, а ничего другого не выдумаешь.

Спрятался после этих ершовых слов карась в самую глубь тины и стал на досуге думать. Думал-думал и между прочим ракушек ел да ел. И что больше ест, то больше хочется. Наконец, однакож, додумался.

— Я не потому ем ракушек, чтоб они виноваты были—это ты правду сказал,—объяснил он ершу:—а потому я их ем, что они, эти ракушки, самой природой мне для еды предоставлены.

— Кто же тебе это сказал?

— Никто не сказал, а я сам, собственным наблюдением, дошел. У ракушки не душа, а пар; ее ешь, а она и не понимает. Да и устроена она так, что никак невозможно, чтоб ее не проглотить. Потяни рылом воду, а в зобу у тебя уж видимо-невидимо ракушек кишит. Я и не ловлю их—сами в рот лезут. Ну, а карась—совсем другое. Караси, брат, от десяти вершков бывают,—так с таким стариком еще поговорить надо, прежде нежели его с'ест. Надо, чтобы он серьезную пакость сделал—ну, тогда, конечно...

— Вот как щука проглотит тебя, тогда ты и узнаешь, что надо для этого сделать. А до тех пор лучше помалкивал бы.

— Нет, я не стану молчать. Хотя я от роду щук не видывал, но только могу судить по рассказам, что и они к голосу правды не глухи. Помилуй, скажи, может ли такое злодейство статься? Лежит карась, никого не трогает и вдруг, ни дай, ни вынеси за что, к щуке в брюхо попадает? Ни в жизнь я этому не поверю.

— Чудак! да ведь намердись на глазах у тебя монах целых два невода вашего брата из заводи вытащил... Как ты думаешь: любоваться, что ли, он на карасей-то будет?

— Не знаю. Только что еще бабушка на-двое сказала, что с теми карасями сталось; ино их с'ели, ино в сажалку посадили. И живут они там припеваючи на монастырских хлебах!

— Ну, живи, коли так, и ты, сорви-голова!

Проходили дни за днями, а диспутам карася с ершом и конца было не видать. Место, в котором они жили, было тихое, даже слегка зеленою плесенью подернутое, самое для диспутов благоприятное. О чем ни калякай, какими мечтами не задавайся—безнаказанность полная. Это до такой степени ободрило карася, что он с каждым сеансом все больше и больше тон своих экскурсий в область эмпиреев повышал.

— Надобно, чтобы рыбы любили друг друга!—ораторствовал он:—чтобы каждая за всех, а все за каждую—вот когда настоящая гармония осуществится!

— Желал бы я знать, как то с своею любовью к щуке под'едешь!—расхолаживал его ерш.

— Я, брат, под'еду!—стоял на своем карась:—я такие слова знаю, что любая щука в одну минуту от них в карася превратится!

— А нут-ка, скажи!

— Да просто спрошу: знаешь ли мол, щука, что такое добродетель, и какие обязанности она в отношении к ближнему налагает?

— Огорошил, нечего сказать! А хочешь, я тебе за этот самый вопрос иголкой живот прокалю?

— Ах, нет, сделай милость, ты этим не шути!

Или:

— Только тогда мы, рыбы, свои права сознаем, когда нас с малых лет в гражданских чувствах воспитывать будут!

— А на кой тебе ляд гражданские чувства понадобились?

— Все-таки...

— То-то «все-таки». Гражданские-то чувства только тогда ко двору, когда перед ними простор открыт. А что же ты с ними, в тине лежа, делать будешь?

— Не в тине, а вообще...

— Например?

— Например, монах меня в ухе захочет сварить, а я ему скажу: не имеешь, отче, права без суда такому ужасному наказанию меня подвергать!

— А он тебя, за грубость, на сковородку, либо в золу в горячую... Нет, друг, в тине жить, так не гражданские, а остолопы чувства надо иметь — вот это верно. Схоронился где погуще и молчи, остолоп!

Или еще:

— Рыбы не должны рыбами питаться,—бредил наяву карась.— Для рыбьего продовольствия и без того природа многое-множество вкусных блюд уготовала. Ракушки, мухи, черви, пауки, водяные блохи; наконец—раки, змеи, лягушки. И все это добро, все на потребу.

— А для щук на потребу караси,—отрезвлял его ерш.

— Нет, карась сам по себе довлеет. Ежели природа ему не дала оборонительных средств, как тебе, например, то это значит, что надо особый закон, в видах обеспечения его личности, издать!

— А ежели тот закон исполняться не будет?

— Тогда надо внушение распубликовать: лучше, дескать, совсем законов не издавать, ежели оные не исполнять.

— И ладно будет?

— Полагаю, что многие устыдятся.

Повторяю: дни проходили за днями, а карась все бредил. Другому за это хоть щелчок бы в нос дали, а ему—ничего. И растаба-рывал бы он таким родом иродовы веки, если бы хоть крошечку поостерегся. Но он уж так о себе возмечтал, что совсем из расчета вышел. Припускал да припускал, как вдруг к нему головель с повесткой: назавтра, дескать, щука изволит в заводь прибыть, так ты, карась, смотри: чуть-свет ответ держать явись!

Карась, однакоже, не оробел. Во-первых, он столько разнообразных отзывов о щуке слышал, что и сам познакомиться с ней любопытствовал; а во-вторых, он знал, что у него такое магическое

слово есть, которое, ежели его сказать, сейчас самую лютую щуку в карася превратит! И очень на это слово надеялся.

Даже ерш, видя такую его веру, задумался, не слишком ли он уж далеко зашел в отрицательном направлении. Может быть, и в самом деле щука только того и ждет, чтобы ее полюбили, благой совет ей дали, ум и сердце ее просветили? Может быть, она... добрая? Да и карась, пожалуй, совсем не такой простофиля, каким по натуржности кажется, а напротив того, с расчетом свою карьеру облаживает? Вот завтра явится он к щуке да прямо и ляпнет ей сущую правду, какой она от роду ни от кого не слыхивала. А щука возьмет, да и скажет: за то, что ты мне, карась, самую сущую правду сказал, жалую тебя этою заводью; будь ты над нею начальник!

Приплыла на утро щука, как пить дала. Смотрит на нее карась и дивится: каких ему про щуку сплеток ни наплели, а она—рыба как рыба! Только рот до ушей да хайло такое, что как раз ему, карасю, пролезть.

— Слышала я,—молвила щука:—что очень ты, карась умен и разлагольствовать мастер. Хочу я с тобой диспут иметь. Начинай.

— Об счастье я больше думаю,—скромно, но с достоинством ответил карась.—Чтобы не я один, а все были счастливы. Чтобы всем рыбам во всякой воде свободно плавать было, а ежели которая в тину спрятаться захочет, то и в тине пускай полежит.

— Гм! и ты думаешь, что такому делу статься возможно?

— Не только думаю, но и всечасно сего ожидаю.

— Например: плыву я, а рядом со мною... карась?

— Так что же такое?

— В первый раз слышу. А ежели я обернусь да карася-то... с'ем?

— Такого закона, ваше высокостепенство, нет; закон говорит прямо: ракушки, комары, мухи и мошки да послужат для рыб пропитанием. А кроме того, позднейшими разными указами к пище причислены: водяные блохи, пауки, черви, жуки, лягушки, раки и прочие водяные обыватели. Но не рыбы.

— Маловато для меня. Головель! неужто такой закон есть?—обратилась щука к головлю.

— В забвении, ваше высокостепенство!—ловко вывернулся головель.

— Я так и знала, что не можно такому закону быть. Ну, а еще ты чего всечасно, карась, ожидаешь?

— А еще ожидаю, что справедливость восторжествует. Сильные не будут теснить слабых, богатые—бедных. Ты, щука, всех сильнее и ловче—ты и дело на себя посильнее возьмешь; а мне карасю, по моим скромным способностям, и дело скромное укажут; всякий для всех, и все для всякого—вот как будет. Когда мы друг за дружку стоять будем, тогда и подкузьмить нас ничто не сможет. Невод-то еще где покажется, а уж мы драла! Кто под камень, кто на самое дно в ил, кто в нору или под корягу. Уху-то, пожалуй-что, видно бросить придется!

— Не знаю. Не очень-то любят люди бросать то, что им вкусным кажется. Ну, да это еще когда-то будет. А вот что: так, знает, по-твоему, и я работать должна?

— Как прочие, так и ты.

— В первый раз слышу. Поди, проспись!

Проспался ли, нет ли, карась, но ума у него, во всяком случае, не прибавилось. В полдень опять он явился на диспут, и не только без всякой робости, но даже против прежнего веселее.

— Так ты полагаешь, что я работать стану, и ты от моих трудов лакомиться будешь?—прямо поставила вопрос щука.

— Все друг от дружки... от общих, взаимных трудов...

— Понимаю «друг от дружки»... а между прочим, и от меня... тм! Думается, однакож, что ты это зазорные речи говоришь. Головень! как, по-нынешнему, такие речи называются?

— Сицилизмом, ваше высокостепенство!

Так я и знала. Давненько я уж слышу: бунтовские, моя, речи карась говорит! Только думаю: дай, лучше сама послушаю... Ан вот ты каков!

Молвивши это, щука так выразительно щелкнула по воде хвостом, что как ни прост был карась, но и он догадался.

— Я, ваше высокостепенство, ничего,—пробормотал он в смущении:—это я по простоте...

— Ладно. Простота хуже воровства, говорят. Ежели дуракам волю дать, так они умных со свету сживут. Наговорили мне о тебе с три короба, а ты—карась как карась,—только и всего. И пяти минут я с тобою не разговариваю, а уж до смерти ты мне надоел.

Щука задумалась и как-то загадочно на карася посмотрела, что он уж и совсем понял. Но, должно быть, она еще после вчерашнего обжорства сыта была, и потому зевнула и сейчас же захрапела.

Но на этот раз карасю уже не так благополучно обошлось. Как только щука умолкла, его со всех сторон обступили головы и взяли под караул.

Вечером, еще не успело солнышко сесть, как карась в третий раз явился к щуке на диспут. Но явился уже под стражей и притом с некоторыми повреждениями. А именно: окунь, допрашивая, покусал ему спину и часть хвоста.

Но он все еще бодрился, потому что в запасе у него было магическое слово.

— Хоть ты мне и супротивник,—начала опять первая щука:—да, видно, горе мое такое; смерть диспуты люблю! Будь здоров, начинай!

При этих словах карась вдруг почувствовал, что сердце в нем загорелось. В одно мгновение он подобрал живот, затрепыхался, защелкал по воде остатками хвоста и, глядя щуке прямо в глаза, всю мочь гаркнул:

— Знаешь ли ты, что такое добродетель?

Щука разинула рот от удивления. Машинально потянула она воду и, вовсе не желая проглотить карася, проглотила его.

Рыбы, бывшие свидетельницами этого происшествия, на мгновение остолбенели, но сейчас-же опомнились и поспешили к щуке— узнать, благополучно ли она поужинать изволила, не подавилась ли. А ерш, который уж заранее все предвидел и предсказал, выплыл вперед и торжественно провозгласил:

— Вот они, диспуты-то наши, каковы!

Указатель литературы о Толстом и толстовстве ¹⁾.

1. Аксельрод-Ортодокс, Л. И.—Л. Н. Толстой. Сборник статей, ГИЗ. М. 22 г., стр. 159. В 1928 г. вышло второе, расширенное издание.
2. Андреевич (Соловьев Е. А.) Л. Н. Толстой. Монография, издание Беляева СПб., стр. 264.
3. Андреевич (Соловьев Е. А.). Опыт философии русской литературы. ГИЗ. 1922 г. стр. 418 (глава VI, VII).
4. Андреевич (Соловьев В. А.). Толстой и культура. „Жизнь“ 1900 г. № 2.
5. Балухатый, С. и Писемская, О. Справочник по Толстому. ГИЗ. 28 г., стр. 123. (Библиографический указатель).
6. Берлин П. А. Социальные идеи Л. Толстого. „Новый журнал для всех“ 10 г., № 26.
7. Богданович А. И. Годы перелома (1895—1906). Сборник критических статей со вступительными статьями Короленко, Куприна, Неведомского. Изд. „Мир божий“. СПб 1908 г., стр. XXVI—458. В сборнике этом перепечатаны заметки и статьи Богдановича о Толстом, печатавшиеся в журнале „Мир божий“.
8. Бондарев, Д. А. Толстой и современность. ГИЗ. 28 г., стр. 95.
9. Вартаньянц. Учение Л. Толстого, как идеализация рабства. Критический опыт. Тифлис 1900 г., стр. 59.
10. Иорданский Н.—Л. Толстой и современное общество. „Современный мир“. 10 г. № 12.
11. Квитко, Д. Ю. Философия Толстого. Изд. Комакадемии. 28 г., стр. 302.
12. О Толстом. Литературно-критический сборник. Под ред. В. М. Фриче. ГИЗ. 28 г., стр. 340 (статьи Ленина, Плеханова, Луначарского и др.).
13. Ленин и Толстой. Изд. Комакадемии. 28 г., стр. 186.
14. Плеханов и Толстой. Изд. Комакадемии. 28 г., стр. 176.
15. Коган П. С.—Очерки по истории новейшей литературы. Том I, выпуск II, стр. 124—202.
16. Коробка Н. И.—Опыт обзора истории русской литературы. Для школ и самообразования. Часть III, гл. IX.
17. Львов-Рогачевский В. А.—Очерки по истории новейшей русской литературы. Глава XI.
18. Львов-Рогачевский В. А.—Преступное всепрощение и праведный гнев. По поводу очерка Л. Толстого „Божеское и Человеческое“. „Образование“. 1906 г. № 8.

¹⁾ В указателе даны авторы, чьи работы не вошли или вошли только частично в настоящий сборник.

19. Плеханов Г. В.—Статьи о Толстом. ГИЗ. Стр. 94. (В сборнике собраны все статьи П. о Т.).
20. Пругавин А. С.—О Льве Толстом и о толстовцах. Очерки, воспоминания, материалы. Издание автора. М. 1911 г., стр. 303.
21. Рожков Н. А.—Статьи о великих русских писателях (Достоевском, Гоголе, Горьком, Толстом, Гончарове). «Образование» 1902 г. №№ II—XII.
22. Фриче В.—Л. Н. Толстой. «Правда» 28 г. № 72, 76.
23. Шелгунов И.—Философия застоя (О «Войне и Мире»). Сочинения, том II, стр. 368—394. Наиболее полное систематическое изложение толстовского учения, в аналогетическом духе, разумеется, дано в книге: В. Булаков. «Христианская этика». Систематические очерки мировоззрения Л. Н. Толстого. М. 17 и 19 гг., стр. 235.
24. Красиков П. А.—На церковном фронте. Изд. НКЮ. 1924 г. (статьи о сектантах).
25. «Антирелигиозник», журнал. 1928 г., июль.
26. Путинцев Ф. Политическая роль сектантства. «Безбожник», 1928 г.
» » » » » «Духоборье».

Из огромной мемуарной литературы наиболее богаты фактами и биографическими штрихами: «Яснополянские записки» Д. Маковицкого (изд. Задруга); «Вблизи Толстого» А. Б. Гольденвейзера, 2 том. (Изд. 23 г.); Л. Н. Толстой в последний год его жизни» В. Булгакова. «Записи прошлого» Т. А. Кузминской. (3 выпуска). Все эти мемуаристы—крайние реакционеры.

О Г Л А В Л Е Н И Е

	Стр.
Несколько слов—от редакции «Атеиста»—к третьему изданию.	3

I. Учение Л. Н. Толстого и его социальные корни

В. И. Ленин—«Л. Н. Толстой и его эпоха»	18
В. И. Ленин—«Л. Н. Толстой»	21
Г. В. Плеханов—«Смешение представлений» (учение Л. Н. Толстого) .	25
Роза Люксембург—«Лев Толстой»	39
В. М. Фриче—«Л. Н. Толстой»	42
Г. В. Плеханов—«О религии Л. Толстого»	49
Д. Ю. Квитко—«Отношение Л. Толстого к науке и просвещению» .	52
А. Мартынов—«Общественная идеология Л. Н. Толстого»	61
«Знаменательное единомыслие»	69

II. Лев Толстой и революционная борьба пролетариата за социализм

В. И. Ленин—«Лев Толстой как зеркало русской революции»	81
Г. В. Плеханов—«Карл Маркс и Лев Толстой»	85
В. И. Ленин—«Герои оговорок»	100
Л. Аксельрод-Ортодокс—«Учение Толстого и утопический социализм народников»	106
В. И. Ленин—«Л. Толстой и современное рабочее движение» . . .	109
И. Кубиков—«Лев Толстой и рабочий класс»	111
Л. Аксельрод-Ортодокс—«Толстовщина и социалистическое движение»	118
К. Каутский—«Город и деревня в учении Толстого»	123
М. Ольминский—«Наше отношение к Л. Н. Толстому»	130

III. Толстовцы без нимба и фамила

Торький—«О Толстом»	133
В. Г. Чертков—«Во христе юродствующие и юродивые»	141
Кнут Гамсун—«О Толстом»	146
М. Е. Салтыков-Щедрин—«Карась-идеалист»	150

В издании АТЕИСТА

ВЫШЛИ ИЗ ПЕЧАТИ:

(список изданий, имеющихся в продаже)

- „Мысли В. И. Ленина о религии“ (4-е изд.) 1 р. 25 к.
„Мысли К. Маркса и Ф. Энгельса о религии“ (2-е изд.) 2 р. 75 к.
„Избранные мысли К. Маркса и Ф. Энгельса о религии—с предисловием и примечаниями“ (2-е изд.) 50 коп.
„Мысли Г. В. Плеханова о религии“ 2 р. 50 к.
„Занимательная библия“ Лео Таксиля, пер. с франц. под ред. В. А. Шишакова (2-е издание) 2 р. 75 к.
„Светский календарь Вел. Франц. Революции“ И. Вороницына (2-е изд.) 25 к.
„ИСТОРИЯ АТЕИЗМА“—И. Вороницына. Изд. второе. Вып. I—Атеизм в древности. Свободомыслие в Германии XVII и первой половины XVIII столетия. 1 р. 20 к. Вып. II—Борьба с религией во Франции в первую половину XVII столетия. Философская битва. 1 р. 25 к. Вып. III—Борьба с религией и атеизм в эпоху Франц. Революции. 1 р. Вып. IV—Немецкое просвещение в его зависимости от франц. просвещения и революции. Религиозное свободомыслие в России в XVII веке. 2 р. 50 к. Выпуск V—Утопический социализм и религия. „Петрашевы и религия“. 2 р. 25 к.
„Церковный фронт в годы мировой войны“—Б. Кандидова. (2-е изд.) 1 р. 25 к.
„Секуляризация церковных имуществ“—Е. Грекулова. (2-е изд.) 60 к.
„Церковь и просвещение в России“—С. А. Каменева. (2-е изд.) 1 р. 25 к.
„ЗОЛОТАЯ ВЕТВЬ“—Д. Фрэзера. Вып. I—Магия и религия. Пер. с франц. с пред. проф. П. Ф. Преображенского. 2 р. Вып. II—Табу-запреты. 1 р. 50 к. Вып. III—Умирающие и воскресающие боги растительности. 2 р. 25 к. Вып. IV—Богоедство, жертвоприношения, искушение и представление о душе. 3 р.
„Руины“—атеистический памфлет Вольнея. Пер. с франц. с предисл. и примечаниями С. С. Рожицына. (2-е изд.) 1 р. 50 к.
„Илья пророк“—Н. Румянцева (3-е изд.) 60 к.
„Миф об Иоанне крестителе“—Н. Румянцева. (3-е изд.) 30 к.
„Папа римский в роли спекулянта“—проф. С. Г. Лозинского. (3-е изд.) 35 к.
„Святой Василий Грязнов—защита подмосковных акул текстильной промышленности.“ (4-е изд.) И. Шницберга. 30 к.
„Великий шантаж“ (Мощи новозаветных и ветхозаветных героев) — Н. Румянцева. (4-е изд.) 60 к.
„Легенда о христе в классовой борьбе“—Б. Кандидова. (3-е изд.) 60 к.
„Лев Толстой как столп и утверждение поповщины“ (антитолстовская хрестоматия). Под редакцией И. Шницберга. (3-е изд.) 1 р.
„Декабристы и религия“ (2-е изд.)—И. Вороницына. 60 к.
„Содержание корана“—Л. Климовича. (2-е изд.) 75 к.
„Белинский и религия“—И. Вороницына. (2-е изд.) 40 к.
„Жила ли дева Мария“—Н. Румянцева. (3-е изд.) 50 к.
„Нравы русского духовенства“—Е. Грекулова. (3-е изд.) 40 к.
„Воздвижение и первый спас“—Н. Румянцева. (2-е изд.) 20 к.
„Существовал ли Иисус христос“—Э. Мутье-Руссэ. (3-е изд.) 65 к.
„Катастрофы на земле“ (2-е изд.) С. Кузнецова. 40 к.
„Что говорит религия и наука о жизни“—А. Михайловича. (2-е изд.) 45 к.
„Жрец Тарквиний“—С. Поливанова, трагедия в 3 д. (4-е изд.) 30 к.
„Чудо в посаде“—С. Поливанова. (2-е изд.) Комед. над комед. в 3 действ. 30 к.
„Из истории святой инквизиции в России“—Е. Грекулова. (2-е изд.) 75 к.
„Как произошел человек“—проф. Б. Н. Вишневского. 1 р. 10 к.

- „Социальные корни антисемитизма в Средние века и Новое Время“—проф. С. Г. Лозинского. 1 р. 80 к.
- „Развитие и жизнь земного шара“—С. Кузнецова. (2-е изд.) 45 к.
- „Происхождение пашки“—Н. Румянцев. 60 к.
- „Преображение господне“—Н. Румянцев. 15 к.
- „Вознесение, троица и духов день“—Н. Румянцев. (2-е изд.) 35 к.
- „Крепостное право, церковь и революция“—М. Темкина. (2-е изд.) 20 к.
- „Занимательное евангелие“—Лео Таксила, пер. с франц., под ред. В. Шияшкова. Рис.—Моора. 2 р. 50 к.
- „Паломничество брата Грамзальбуса“—Л. Вахтера. Роман. Пер. с нем. 1 р. 20 к.
- „Монахиня“—роман Дени Дидро. Пер. с франц. 90 к.
- „Трактат о трех обманщиках“—(Моисей—христос—Магомет). 1 книга 1598 год, пер. с латинского. II Трактат XVIII века, пер. с франц. Н. Цветкова. Вступительная статья И. Вороницына „История атеистической книги“. 75 к.
- „Антихрист, как образ“—Б. Кисина. 30 к.
- „Дьявол“—М. Геннинга. 40 к.
- „Вопрос об историчности Христа в свете археологии“—А. Дмитриева. (2-е изд.) 30 коп.
- „Церковь и крепостное право в России“—В. Писарева. 80 коп.
- „Откуда произошли животные“—П. В. Серебровского. 1 р.
- „Церковные колокола на службе магии и царизма“—проф. П. Гидулянова. (2-е изд.) 60 к.
- „Первоначальная христианская литература“—Ван-Эйсинга. 65 к.
- „Как произошел растительный мир на земле по Библии и по науке“—академика В. Комарова. (2-е изд.) 65 к.
- „Есенин, есенинщина и религия“—Г. А. Покровского. (2-е изд.) 50 к.
- „История русской церкви“—проф. Н. М. Никольского. 2 р.
- „Атлас по истории религий“—568 иллюстраций. Составлен при участии: проф. А. А. Захарова, проф. Е. Г. Калярова, проф. В. К. Никольского, доцента С. Л. Уреynовича и отв. ред. АТЕИСТА—И. А. Шницберга. 3 р.
- „Первобытное мышление“—П. Леви-Брюля. С предисловиями от редакции АТЕИСТА, академика Н. Я. Марра, проф. В. К. Никольского и автора. 3 руб.
- „Крещение, благовещение, сретение“—Н. Румянцев. 40 к.
- „Богородица в русской литературе“—Б. Кисина. 35 к.
- „Краткая история древнего христианства“—Джона Робертсона. С англ. 1 р.
- „Парижская коммуна и церковь“—Я. Михайлова. 75 к.
- „Загробная жизнь, как предмет спекуляции, или об индульгенциях в римско-католической церкви и православии“—проф. П. В. Гидулянова. 1 р 40 к.
- „Социальная сущность талмуда“—М. Шахновича. 75 к.
- „Отрицание историчности Иисуса в прошлом и настоящем“—А. Дрекса. 1 р.
- „Лурд—величайшая в мире фабрика шантажей“—Жана Боннефона. 60 к.
- „Ислам на службе контр-революции“—К. Василевского. 60 к.
- „Попы в роли провокаторов, тюремщиков и погромщиков“—Д. Венедиктова. 1 р.
- „Церковь и московское восстание 1905 г.“—Б. Кандидова. 40 к.
- „Сон отца Акакия“—С. Поливанова—водевиль в 1 действии, с музыкой, пением и танцами. Музыка Зин. Компанец. 50 к.
- „Пауки и мухи“—Ф. Благова—антирелигиозное обозрение в 20 явлениях, с пением. 30 к.
- „Сектантство и мировая война“—Б. Кандидова. 35 к.

В П Е Ч А Т И:

«МОЛОТ ВЕДЬМ»—монахов Г. Инститориса и Я. Шпренгера. Перев. с латинского Н. Цветкова, с предисловием проф. С. Г. Лозинского и проф. М. П. Баскина.

«СВЯЩЕННЫЙ ВЕРТЕП»—Лео Таксила, с мног. иллюстр.